

РАСКАЗАЧИВАНИЮ НЕ БЫВАТЬ!

СПЕЦНАЗ НА ДОНУ, 1919

ОТКАТ



КОНСТАНТИН ГРАДОВ

Константин Градов

Расказачиванию не бывать! Откат

«Автор»

2026

Градов К.

Расказачиванию не бывать! Откат / К. Градов — «Автор», 2026

Октябрь 1919-го. После Воронежа фронт катится назад, и Степан Беркутов знает главное: удержать города не получится. Значит, надо успеть вывести людей. Сначала под его рукой лишь четверо «беркутов». Потом к ним прибиваются раненые, обозники, семьи и специалисты, без которых смешанная колонна не переживёт ни Касторную, ни зимнюю дорогу, ни тиф. Знание будущего подсказывает Степану направление, но не цену частного решения. От Воронежа до ростовских переправ ему придётся считать не взятые рубежи, а тех, кого удалось провести дальше, — и каждый спасённый делает ответственность тяжелее.

© Градов К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Девять суток	5
Глава 2. Город не удержать	13
Глава 3. Последний эшелон	21
Глава 4. Лиски	29
Глава 5. Сводная колонна	37
Глава 6. Грязный ход	45
Глава 7. Клещи	54
Глава 8. Касторная	62
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Константин Градов

Расказачиванию не бывать! Откат

Глава 1. Девять суток

Глава 1. Девять суток

На первом привале пятнадцатого октября у меня было четверо своих, шесть коней и девять суток.

Первые две цифры знал всякий, кому по службе положено было знать. Третью не знал никто, и сказать её было некому. Двадцать четвёртого числа Воронежа за нами не станет. Я не помнил ни кто войдёт в город, ни с какой стороны, ни что при этом будет со мной и с моими, — помнил одно голое число, как помнят зарубку на дереве, мимо которого прошёл давно и всего один раз. За такую память надо платить. Плата была простая: молчать.

Стан устраивался на новом месте долго, как устраивается всё большое. Расположение быстро истоптали копытами до рыжей грязи. Пахло сукном, дымом и конским потом. У соседней сотни с вечера не поделили фураж и доругивались теперь на свежую голову, хрипло и без злобы, — так ругаются люди, у которых спор идёт третий день и уже стал привычкой. Мимо тянулись подводы. Куда тянулись, зачем — не знали, кажется, и сами возчики: тянулись, потому что вчера стояли, а сегодня велено двигаться.

Мои на первом привале не развьючивались: мы начали готовиться к этому двое суток назад.

Кони были перекованы — все шесть, вовремя, не наспех. Сухарь и просо лежали в тороках сухими, потому что их с самого начала завязали как надо. Патроны были считаны и сбережены тогда, когда вокруг их жгли не глядя. Ничего геройского в этом не было. Просто в ту пору, когда все смотрели на север, я велел своим смотреть под ноги, — и теперь, пока чужие сотни рассёдлывали, искали, спорили и заново выючили, моя горсть уже стояла в готовности и ждала.

Час выигрыша. Всего час.

Гаврила сидел на перевёрнутом ведре и разбирал люис. Пулемёт лежал у него на коленях, обёрнутый чистой холстиной, и Гаврила водил по нему тряпкой длинно и ровно, как гладят коня.

— Четыре, — сказал он, не поднимая головы.

— Что четыре?

— Диска четыре. Пятый есть, да помят — клинит через раз. Я его не считаю. Ты, командир, тоже не считай.

— А если посчитаю?

— Тогда он тебя посчитает. — Гаврила усмехнулся щербато и снова наклонился к железу.

Четыре диска. Я отметил это, как отмечают глубину брода: не для разговора, а для того часа, когда придётся входить.

Я закинул седло сам и на середине движения вспомнил, отчего всю последнюю неделю закидывал его левой. Плечо отозвалось — не болью, а тугой ниткой под кожей, будто внутри зашили чуть короче, чем было. Тянуло и отпускало. Значит, заживало.

Тимофей подтягивал подпругу. Конец ремня он держал в зубах, а левой рукой выбирал слабинку — коротко, привычно, тремя движениями вместо одного. Правая висела вдоль тела и в работе не участвовала. Он давно перестал этого стыдиться и просто делал всё чуть медленнее, чем прежде, и чуть точнее. Затянув, он провёл тыльной стороной ладони по усам и обернулся ко мне.

Мишка бежал от коновязи с листом бумаги, и длинная не по росту винтовка колотила его по спине.

— Степан Тихонович! Шесть коней, три выюка, овса на четыре дня, если по полной даче. Если по три четверти — на пять дней с третью.

— По три четверти.

— Записал уже.

Архип стоял в стороне, у самой дороги, и смотрел на проходящие подводы. Он вынул из-за пазухи рожок, насыпал на ноготь табаку, потянул, крикнул. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Порожние идут.

Я подошёл. Он был прав: из десяти подвод четыре шли порожняком, а остальные — с чем попало, с рухлядью, с мешками, с чужим добром. Раненых на них не было. Раненые шли где-то в другом месте, и никто, кажется, не знал где.

Вестовой нашёл меня к девяти. Мальчишка немногим старше Мишки, в шинели с чужого плеча, злой от бессонницы, он сунул мне бумагу и остался стоять, переминаясь.

Бумага была короткая. Команде младшего урядника Беркутова: осмотреть дороги от расположения на юг и юго-восток, установить проходимость, переправы и места, где узко; доложить полковнику Шумилину двадцать второго.

— Ответ будет? — спросил вестовой.

— Будет. Скажи: понял.

Он ушёл. Я стоял с бумагой в руке и чувствовал под пальцами её дрянную рыхлую фактуру, и думал о том, что бумага эта — лучшее, что случилось со мной за неделю. Обет вывести своих я дал себе сам. Наряд с числом и подписью дал Шумилин. Его уже можно было поделить, назначить, проверить и сдать.

Тимофей прочёл через моё плечо, и я услышал, как он коротко втянул воздух.

— На юг, — сказал он.

— На юг.

— Мы вроде на Москву идём, Степан Тихонович.

— Идём.

— А смотрим на юг.

— Смотрим.

Он помолчал. Он умел молчать так, что молчание становилось вопросом.

— Наряд не мой, Тимофей. Подписан не мной. Хочешь — сходи спроси в штабе, отчего они смотрят на юг. Мне интересно, что ответят.

— Не пойду, — сказал он ровно. — Я и так знаю, что ответят. Что дороги надо знать во все стороны.

— Вот и я так думаю.

— Ты не так думаешь. — Он поправил ремень левой. — Ты, командир, думаешь по-другому, я вижу. Только спрашивать не стану.

И не спросил. Полгода не спрашивал — не спросил и теперь. Я стоял и был ему за это должен так, что и не сочтёшь.

Дороги я разделил надвое.

Первая — вдоль рельса, на Лиски. Широкая, наезженная, с переездами и будками; воду там можно искать у станций. Дорога, к которой всё живое липнет само: где рельс, там и порядок, там и начальство, там и надежда, что подадут вагон. Осмотреть надо было не саму дорогу — с ней и так всё понятно, — а места, где она сходится с рельсом вплотную и где, стало быть, сойдутся все разом.

Вторая — просёлком на юго-восток, через Гнилую балку. Дрянная, глухая, с одним мостком в три бревна. Туда никто не пойдёт, покуда есть первая. Оттого её и надо было знать.

— Архип впереди, — сказал я. — Гаврила при льюисе, заводной с ним. Тимофей ведёт счёт и коней. Мишка пишет: подводы, люди, вода, где кормят, где ночуют. Всё пишет. Балку смотрим отдельно и подробно, мосток мерим.

— Мерить чем? — спросил Мишка.

— Собой. Ляжешь поперёк — узнаем, сколько в тебе.

Гаврила фыркнул. Мишка обиделся было, но передумал и вытащил из-за голенища бечёвку с узлами — она у него была на всё.

Семь суток по наряду. Девять — по моему счёту. Два срока в одном человеке, и второй никому не показывать.

Вышли в одиннадцатом часу.

* * *

Семнадцатого, к полудню, Архип поднял ладонь.

Мы стали. Впереди, за поворотом просёлка, гудело — низко, ровно, многоголосо. Так гудит не бой. Так гудит толпа, которая стоит.

— Много, — сказал Архип тихо. Чем опаснее, тем он говорил тише; сейчас он говорил почти шёпотом, и это значило только одно: там не враг, там хуже.

Гнилая балка открылась сразу за поворотом.

Мосток в три бревна. На мостке — подвода с лопнувшей осью, боком, задом в перила. Перед мостком — телеги. Тесно, колесо в колесо, оглобля под чужую задницу, и дальше, назад по дороге, сколько хватало глаз, — телеги, телеги, телеги. Между ними, прямо в грязи, на соломе, на шинелях, лежали люди. Лежали, сидели, стояли. Раненые вперемешку со здоровыми, солдаты вперемешку с бабами и узлами. Кони стояли в упряжи вторые сутки, не расседланные, толком не поенные, и опустили головы так низко, что морды почти касались грязи.

Никто ничего не делал. Все ждали.

— Мишка. Считай.

Он соскочил, побежал вдоль обочины, губами шевеля. Вернулся быстро.

— Сорок одна подвода. Раненых я до ста семнадцати досчитал и сбился, там дальше в кустах ещё лежат.

— Старший кто?

Мишка мотнул головой.

Я слез с коня. Грязь взяла сапог по щиколотку и отпустила с чмоканьем. Пошёл вдоль телег. Меня провожали глазами — молча, без надежды; так смотрят на всякого, кто идёт мимо, и уже знают, что мимо и пройдёт.

У самого мостка возчик сидел на своей сломанной оси, положив руки на колени.

— Давно?

— Со вчерашнего полудня.

— Чинил?

— Чем?

Он поднял на меня глаза, и в них не было ни злобы, ни просьбы. Он просто сидел на своей оси и ждал, когда всё кончится само.

Я поглядел на мосток. Три бревна, четвёртое было когда-то и сгнило: слева, у самого края, зияла прореха в ладонь. Ширина — одна подвода. Ни объехать, ни разъехаться. Внизу, в балке, стояла вода — чёрная, стоячая, с плёнкой.

— Гаврила. Тимофей. Валим её под откос.

Возчик встал.

— Казённая.

— Она сломана.

— Всё одно казённая. Мне за неё...

— Тебе за неё ничего не будет. Тимофей, запиши ему бумагу: подвода такая-то сброшена по моему приказу, я подписал. — Я повернулся к возчику. — Устроит?

Он поглядел на бумагу, потом на дорогу, потом на меня.

— Устроит.

Взялись вчетвером. Оглобли задрали, колесо вывернули, повели. Подвода шла тяжело, цепляясь за брёвна, потом вдруг пошла легко и ухнула вниз, в чёрную воду, подняв столб брызг. Вода приняла её и сомкнулась.

— Первая пошла! — заорал Гаврила на всю балку. — Не стой, не стой, пошла первая!

И телеги двинулись.

Не сразу. Сначала — одна, потом три, потом весь этот стоячий, слежавшийся, потерявший веру ряд затрещал, зашевелился и потёк через мосток по одной. Тимофей встал у въезда, левой рукой отмахивая: ты, ты, теперь ты. Мишка бегал вдоль и считал вслух. Кони упирались, бабы кричали. Мосток скрипел под каждым колесом, и я стоял и слушал, как он скрипит, и считал, сколько ещё выдержит.

На двадцать шестой подводе левое бревно село.

До просадки Мишка успел засечь чистый час: восемнадцать подвод.

Оно не треснуло и не переломилось — просто ушло вниз на палец и там осталось, и телега пошла с креном. Возчик заорал. Я поймал коня под уздцы и провёл, придерживая, и подвода сошла с мостка боком, скрежетнув ободом о перила.

— Стой! — крикнул я назад. — Стой, не пускай!

Ряд встал.

Мы полезли под мосток вдвоём с Гаврилой, по колено в чёрной воде. Бревно лежало на подгнившей подкладине, и подкладина разошлась вдоль. Менять было нечего и некогда. Гаврила приволок из разбитой подводы задний борт, и мы забили его туда клином, наискось, придавив тем, что нашлось: двумя обломками оси и камнем, который вдвоём еле подняли.

— Долго не выдержит, — сказал Гаврила, вылезая.

— Ему до утра надо выдержать.

— До утра выдержит. — Он оглядел свои руки, чёрные до локтя, и вытер их о полу шинели. — А ты, командир, шинель уже не отстираешь.

Ряд пошёл снова, и первые три подводы я перевёл через мосток сам, за повод, шагом, слушая под ногами, как разговаривает дерево.

Тимофей подошёл ко мне, когда прошла тридцатая.

— Степан Тихонович. Сутки.

— Знаю.

— До темноты их не распустим, а завтра надо быть у рельса. На первую дорогу останется меньше времени.

— Хватит.

— Если мост больше не сядет. — Он говорил ровно, без нажима, как всегда, когда бывал прав. — Наряд на две. Спросят — за две.

— Спросят.

— И ещё скажу. — Он посмотрел на телеги, на лежащих, на бабу, тащившую по грязи мешок. — Нас пятеро.

Вот оно.

— Договаривай.

— Свои — это кто, командир? Ты сказал: вывести своих. Я тогда понял так, что нас. Нас, беркутов, кто остался. — Он помолчал. — А это кто?

Я мог ответить ему словами. Слова тут ничего не стоили.

— Мишка! — крикнул я. — Сколько подвод?

— Сорок одна! — донеслось от мостка.

— Пиши сорок одну.

Тимофей постоял. Потом кивнул — коротко, один раз, — и пошёл обратно к въезду отмахивать телеги левой рукой.

Прапорщика я увидел, когда прошла тридцать шестая.

Он сидел у обочины, привалясь спиной к колесу, и держал ногу перед собой на весу, обеими руками под коленом, — так держат не своё, а чужое, тяжёлое, что дали подержать и не сказали, надолго ли. Ступня была замотана в мешковину, и в мешковине не помещалась.

— На подводу тебя, — сказал я.

— Мест нет.

Мест не было. Я прошёл вдоль всего ряда и убедился сам: везде лежали по двое и по трое, поперёк и вдоль, и снять кого-нибудь, чтобы положить его, значило поменять одного на другого. Такой размен я делать умел и делал не раз. Просто в тот день мне не хотелось.

Я вернулся, отвязал заводного и подвёл.

Прапорщик поглядел на коня, потом на меня.

— Это ваш.

— Мой.

— Мне нельзя.

— Тебе нельзя ногу тут оставить, — сказал я. — Гаврила, подсади.

Его подняли вдвоём. Он был лёгкий, легче, чем должен быть мужик его роста, и когда его сажали, он не вскрикнул, только очень громко задышал носом. Ступню пристроили поверх торока. Гаврила подвязал ему стремя коротко, на одну сторону, и подтолкнул коня в круп.

Тимофей смотрел на всё это от въезда и молчал.

— Скажи, — велел я.

— Заводного нет.

— Нет.

— Значит, если под кем падёт конь, пойдём вчетвером о четырёх и один пеший.

— Значит, так.

— Я записал, — сказал Тимофей и повернулся к телегам.

К вечеру прошли тридцать девять. Воды не было: одна бочка на весь этот табор, и та ушла к полудню. Ходячие носили из балки — ту самую, чёрную. Я запретил. Послал Гаврилу с двумя за версту, к колодцу у брошенной мазанки, и они таскали оттуда до темна, вдвоём, ведро за ведром, а третий стоял с льюисом на бугре, потому что дорога была пустая, а пустая дорога — это не значит безопасная.

Архип нашёл меня в сумерках. Взял за рукав и отвёл шагов на десять.

— Того, с краю, отсади.

— Ранен?

— Не ранен. Горит.

Я пошёл посмотреть. Молодой, лет двадцати, лежал на соломе поверх чужой шинели, и его трясло крупно, всем телом. Раны на нём не было. Он был просто горячий — так горячий, что от него, кажется, шло тепло на ладонь, поднесённую к лицу.

— Второй такой, — сказал Архип. — Первого я днём приметил, на восьмой подводе. Тоже без раны.

— Ну и что?

Он посмотрел на меня своим тихим охотничьим взглядом — тем самым, каким смотрел на смятую траву, прежде чем сказать, сколько прошло людей и когда.

— Ничего. Отсади. Не клади с ранеными и воду им отдельно. — Он подумал. — И кружку общую убери. У них там одна на всех ходит по рукам.

Я велел отсадить. Двоих переложили на отдельную телегу и поставили её в хвост. Кружку я отобрал сам, и на меня за неё смотрели как на дурака.

Последнюю из сорока исправных подвод перевели уже в темноте. Среди ходячих нашёлся подпрапорщик Крамской; его я поставил старшим. Ему оставил двоих с топорами и велел до утра зашить досками прореху.

Ночью я сидел у костра с Тимофеем и считал заново.

Из трёх выюков полтора ушли в этот табор: сухарь, просо, соль. То, что сберегли, ушло за день, и взять это было неоткуда — впереди стояли такие же дворы, где самим не хватало.

У нас осталось пять коней вместо шести, полтора выюка вместо трёх и сутки, которых уже не вернуть.

— Скажи мне вслух, — попросил Тимофей.

— Что сказать?

— Чем платим. Ты про себя считаешь, а ты вслух скажи. Мне надо слышать.

Я сказал вслух: конь, полтора выюка, сутки.

— Вот теперь понятно, — сказал Тимофей и лёг спать.

* * *

На следующий день мы всё-таки дошли до рельса. Мишка считал подводы у горла, Архип прошёл по насыпи, а я мерил, где дорога прижимается к балке.

Двадцать второго я вошёл к Шумилину в тёмную низкую избу, где пахло сургучом, мокрым сукном и остывшей печью, где по углам стояли непонятно чьи сундуки, а на столе, прижатая с двух краёв чернильницами, чтобы не сворачивалась, лежала карта, и над ней с ночи горела лампа, которую забыли погасить, хотя за окном давно было светло.

Шумилин был не один. У окна, спиной к свету, так что лица его я почти не видел, а видел только ровный тёмный силуэт и белый обшлаг, стоял штабс-капитан Тенишев — чистый и прямой посреди этой грязной, третью неделю не мытой избы, при своём перстне, с неизменной папкой, зажатой под локтем так бережно, как держат не бумагу, а нечто живое. Я поздоровался с обоими одинаково и одинаково коротко.

— Показывай, — сказал Шумилин.

Карта была скверная, старая, с чужими карандашными пометками поверх печати. Я нашёл расположение, потом рельс, потом повёл пальцем по краю листа, на юг, как вожу всегда, — не по дороге, а по обрезу, потому что на обрезе ничего не нарисовано и ничто не врёт.

— Дорога вдоль рельса. Широкая, твёрдая, воду искать у станций. Идёт хорошо до самого поворота, а на повороте прижимается к насыпи — вот тут. Между насыпью и балкой пятьдесят шагов. Всё, что пойдёт по рельсу, и всё, что пойдёт по дороге, сойдётся в этих пятидесяти шагах.

— Когда сойдётся?

— Как только по рельсу пустят первый состав с ранеными. Через час после этого там будет пробка, которую уже никто не разберёт.

Шумилин наклонился над картой ниже. Он был старый служака и карту читал не глазами, а как-то по-другому, будто на ощупь.

— Дальше.

— Просёлок на юго-восток, через Гнилую балку. Узко, дрянно, мосток в три бревна, одна подвода за раз. Я велел зашить прореху и поставил рядом двух ходячих с топорами. Вода в версте, у мазанки, колодец рабочий. Пройти можно. Медленно, но можно.

— Сколько в час?

— Восемнадцать подвод. Больше мосток не даст.

Шумилин выпрямился.

— Один выход у тебя, Беркутов. Не два.

— Два.

— Один. — Он постучал пальцем по карте, там, где рельс прижимался к балке. — Этот твой первый — не выход. Это очередь. Очередь — не выход, потому что в очереди стоят, а

не выходят. Мне нужны два, куда можно послать людей одновременно и не свести их в одном горле. Или два, или ты ходил зря.

Он говорил это без раздражения, ровным служебным голосом человека, который за тридцать лет насмотрелся на то, как хорошая дорога превращается в общую могилу единственно оттого, что по ней пустили всех сразу и никого впереди не поставили считать. Я знал, что он прав: без старшего в горле первая дорога стоила не больше пробки.

Я молчал секунду дольше, чем надо было.

— Тогда у рельса нужен старший: разводить поезд с подводами и не пускать всех разом. Гнилая даст второй выход. Сутки я потерял на ней, но обе дороги проверил.

— На чём потерял?

— Разбирал пробку. Сорок одна подвода, раненых больше сотни, старшего нет.

— Кем поставлен старший теперь?

— Мною. Из ходячих, подпрапорщик Крамской, я его вписал в донесение.

Шумилин взял со стола карандаш, обломанный до половины, и, придерживая карту ладонью, чтобы не поехала, поставил на ней два креста: один там, где рельс подходил к насыпи, другой — на Гнилой. Кресты вышли жирные и кривые, поверх старых чужих пометок, и от этого сразу стало видно, что дорог у нас на юг ровно две и обе плохие.

— Восемнадцать в час, — сказал он, глядя на второй крест. — За сутки — четыре сотни, если ночью не станут. Станут.

— Станут, — согласился я.

— Значит, две сотни. — Он положил карандаш поперёк карты. — Две сотни подвод в сутки на весь этот берег. Ты понимаешь, что ты мне принёс, Беркутов?

— Понимаю.

— А я тебе скажу, что ты мне принёс. Ты мне принёс цифру. До тебя у меня её не было, и я мог ещё думать, что как-нибудь обойдётся. — Он помолчал. — Теперь не могу.

Шумилин посмотрел на меня. Потом сел, придвинул чернильницу и стал писать — медленно, как пишут люди, привыкшие, что их бумагу будут читать не спеша и не по-доброму.

Тенишев отошёл от окна.

— Позвольте вопрос, Степан Тихонович?

— Спрашивайте.

— Наряд вам вышел пятнадцатого. — Он говорил ровно, тихо, чуть нараспев, и от этого каждое слово выходило будто уже записанным. — Я справлялся: наряд был обыкновенный, дороги смотрят всегда. Но вы отчего-то пошли не как смотрят дороги, а как ищут выход. И нашли. — Он помолчал ровно столько, сколько надо. — Отчего вы искали выход, когда штаб его ещё не искал?

В избе стало очень тихо. Шумилин писал и не поднимал головы, и я видел по его перу, что он слушает.

Тут можно было сказать про предчувствие, про опыт, про то, что старый солдат нутром чует беду раньше штабной сводки, — и всякое такое слово, сказанное в этой избе при этом человеке, легло бы к нему в папку ровной строчкой и пролежало бы там ровно до того дня, когда таких строчек наберётся довольно, чтобы из них сложилось дело. Своих я ему давать не собирался.

— Я ничего не искал, — сказал я. — Я ходил по наряду. Наряд подписан не мной. Что в нём написано, то я и делал.

— И только?

— И ещё считал. — Я повернулся к двери и позвал: — Мишка!

Он влетел, стащил папаху, замер.

— Лист давай.

Он подал. Я положил лист на карту, поверх карандашных чужих пометок.

— Вот. Тут записано, сколько подвод прошло мимо нас на север и сколько на юг. Каждый день, с пятнадцатого. Считал не я, считал он, ему пятнадцать лет и он путает буквы. — Я провёл пальцем по столбцам. — Пятнадцатого на север шло вдвое больше. Восемнадцатого — поровну. Двадцатого на юг шло втрое. Двадцать первого я на север не насчитал ни одной.

Тенишев наклонился над листом. Он смотрел долго, и лицо у него было спокойное и внимательное, как у человека, который читает не то, что написано, а то, что из этого следует.

— Мальчик считает подводы, — сказал он наконец.

— Мальчик считает подводы, — согласился я. — А выводы делает штаб. Я всего лишь хожу и меряю мостки.

— Списки — это хорошо. — Он выпрямился и оправил рукав. — Я люблю списки, Степан Тихонович. В списке всё стоит на своём месте, и видно, чего в нём недостаёт. — Перстень блеснул, когда он раскрыл папку и вложил туда что-то одним движением. — Ваш я, с вашего позволения, перепишу.

— Переписывайте.

— Непременно.

Шумилин дописал, посыпал песком, стряхнул.

— Беркутов. — Он не отдал мне бумагу, а положил её перед собой ладонью. — Дороги ты смотрел. Теперь будешь смотреть за людьми, которые по ним пойдут. Раненые, лазаретные подводы, отставшие, беженцы — весь этот поток. Где узко, где встало, где старшего нет — доносить мне лично, не через канцелярию. Разбирать на месте своей властью. Власти письменной я тебе покамест не дам.

— Не дадите?

— Не дам. Дам поручение. — Он посмотрел на меня прямо. — Поручение хуже власти, урядник. С властью ты отвечаешь по бумаге, а с поручением — головой. Понял?

— Понял.

— Тогда слушай последнее. Лазарет из города ещё не вывезен. Подводы стоят у него во дворе с позавчера, порожние, и никто их не грузит, потому что грузить велено, а приказа трогаться нет.

Я стоял и считал — не подводы и не вёрсты, а те самые дни, которые считал про себя с пятнадцатого числа и о которых в этой избе, при карте, при лампе и при чужом перстне, нельзя было обмолвиться ни единым словом, потому что всякое слово потребовало бы объяснения, а объяснения у меня не было и быть не могло.

Семь прошло.

Двое суток. Из девяти осталось двое, и оба они уходили на то, чтобы вывезти со двора порожние подводы, которые стояли там уже третий день.

— Разрешите идти?

— Иди.

Тенишев проводил меня до порога — не шагая рядом, а просто повернувшись всем корпусом, как поворачиваются вслед.

Во дворе Мишка уже стоял с новым листом и обмусоленным карандашом.

— Что писать, Степан Тихонович?

— Пиши сверху: лазарет.

Он послунил карандаш и вывел, высунув от старания язык. Тимофей вывел коней. Их было пять.

До темна мы вышли на городскую дорогу.

Глава 2. Город не удержать

Мы шли всю ночь и вошли в город затемно, на усталых конях, впятером.

Пятерых коней на пятерых — это в обрез и ни одного лишнего. Заводного у нас больше не было. Это значило, что если под кем падёт конь, то дальше пойдём вчетвером о четырёх и один пеший, — Тимофей сказал мне это на Гнилой балке, и с тех пор я думал об этом всякий раз, когда трогали шагом.

Двадцать третьего, к рассвету, город стоял поперёк самого себя.

Две улицы шли на юг. По обеим двигались все сразу. Военные подводы, гражданские узлы, орудейный передок, баба с корытом на голове, санитарная двуколка, стадо в двенадцать голов. Всё это встречалось на перекрёстках и вставало.

Никто никого не пропускал. Каждый был прав.

Я въехал в город с северной стороны, где было пусто, и три квартала ехал шагом, потому что быстрее было нельзя, а потом слез и повёл коня в поводу, потому что и шагом стало нельзя.

На углу у водокачки стояла перевёрнутая телега.

Её опрокинули не сегодня. Колесо сняли, оси не было, из-под неё торчала солома. Объехать мешала тумба. Мимо просачивались по одному, боком, и на этом одном все и стояли.

— Гаврила. Архип. Берём.

Взяли троём и оттащили к стене. Ушло полминуты.

Сзади сразу пошло. Кто-то крикнул спасибо. Кто-то выругался, что раньше не убрали.

Лазарет стоял во дворе бывшей гимназии.

Подводы — двадцать две, я пересчитал сам — стояли порожние, оглоблями к воротам, как поставили их позавчера. Кони были распряжены и уведены под навес. У крыльца, на носилках и просто на соломе, лежали раненые. Их было много больше, чем помещалось в двадцать две подводы.

Смотритель нашёлся в вестибюле, у печки, где топили школьными партами.

— Грузить велено? — спросил я.

— Велено.

— Трогаться?

— Приказа нет.

— От кого ждёте?

Он посмотрел на меня устало и без всякой надежды.

— От того, кто его даст.

Я вынул бумагу Шумилина. Она была на одну строчку: поручение следить за потоком, не власть над лазаретом. Но у смотрителя своей бумаги не было вовсе, а у меня была хоть эта.

— Вот. Читайте.

Он прочёл. Шевельнул губами.

— Тут не сказано «трогаться».

— Тут сказано разбирать заторы на месте. Разбираю. Запрягайте.

— Под чью ответственность?

— Мою. Пишите так: тронулись по требованию младшего урядника Беркутова, он подписал. Я подпишу при вас.

Он поглядел на бумагу, потом на двор, потом на своих раненых на соломе. И вдруг затопился, как торопятся люди, которым наконец разрешили делать то, чего они хотели уже третий день.

— Запрягай! — заорал он в окно голосом, которого я в нём не подозревал.

Двор ожил.

Через четверть часа он вышел ко мне на крыльцо и стал считать по пальцам, ни на кого не глядя.

— Двадцать две подводы. По шесть лежачих — сто тридцать два. У меня их двести с лишним.

— Остальные?

— Ходячие пойдут ногами. Кто может — тот пойдёт.

— А кто не может?

Он не ответил. Он спустился во двор и пошёл вдоль соломы, наклоняясь над каждым, и с ним шёл фельдшерский ученик с мелом. Смотритель говорил коротко, ученик ставил мел на рукав или не ставил. Это шло минут двадцать.

Я стоял и не вмешивался.

Не потому, что не хотел. Потому, что я в этом ничего не понимаю. Я умею считать выходы, время и патроны. Кто из двухсот лежачих доедет, а кто умрёт от самой дороги, — этого я не умею, и всякий, кто на моём месте начал бы тут распоряжаться, сделал бы хуже.

Ученик стёр мел с одного рукава и поставил на другой. Смотритель кивнул.

Потом ученик позвал меня. Не чином и не по имени — кивнул подбородком к носилкам, будто я тоже был здешним носильщиком и просто зазевался.

— За тот конец берите.

На носилках лежал длинный артиллерист с замотанным бедром. Он не стонал, пока мы несли его по двору, но у колеса подводы сказал:

— Эта не моя.

— Твоя, — ответил ученик.

— У меня мела нет.

— На ворота стёрся. Я помню.

— Мне в третью велели.

Ученик поставил свой конец на землю. Спорить он не стал. Подошёл к третьей подводе, снял с края одеяло и показал раненому козачку с перебинтовой грудью. Тот дышал ртом, мелко, и на наш разговор не открыл глаз.

— Куда его? — спросил ученик.

Артиллерист смотрел на него долго. Потом облизнул сухие губы.

— Меня сюда. Его на моё место.

— Сами скажете смотрителю.

— Скажу.

Мы понесли его обратно. Ученик идти задом не умел, задевал сапогами солому и дважды едва не уронил свой конец. У крыльца смотритель выслушал артиллериста, потом осмотрел казачку под одеялом и сам поменял метки.

— Теперь несите.

На этот раз артиллерист молчал до самой подводы. Когда мы его опустили, он сказал ученику:

— А ты мел подкладывай. Не помните вы ничего.

Ученик не обиделся.

— Буду подкладывать.

Он подал мне свой конец носилок и пошёл за следующими. Во дворе пахло подгоревшей шерстью от печки, сырой соломой и йодом. Сквозь этот запах шёл конский пот от навеса. Возчики водили коней по двору, примеряя их к чужим хомутам. Те, что не подходили, скидывали тут же, под окнами. Время уходило не на приказ и не на погрузку, а на каждый тугой ремень, чужой хомут и носилки, которые нельзя было поднять рывком.

Я вышел за ворота и стал смотреть улицу.

Улиц было две. Обе узкие, обе на юг. Правая — Мещанская, мощёная, шире на полторы сажени, с прямым выходом за окраину. Левая — какая-то безымянная, кривая, с горбом посередине и с двумя подворотнями, где всё вставало само собой, даже когда никто не мешал.

По обеим шли все.

— Архип. Пройди левую до конца. Что там.

Он ушёл и вернулся скоро — он всегда возвращался скорее, чем можно было ждать.

— Горб посередине, — сказал он тихо. — Мощения нет, глина. На горбу водосток открытый, доска сгнила. Две подворотни, из них выезжают, не глядя.

— Пройти можно?

— Пешему можно. Телеге — как повезёт.

— А правая?

— Правая чистая. — Он сыпнул на ноготь табаку и втянул. — Я до поворота дошёл. Оттуда до самой околицы видно — чисто.

— Мишка.

— Тут.

— Считай, сколько в минуту проходит по правой.

Он побежал. Я остался глядеть на левую. Через минуту он вернулся.

— Одиннадцать. Если считать и телеги, и пешех, и корову.

— А по левой?

— Четыре. И там сейчас опять станет, там дядька с бочкой поперёк.

Так и решилось.

— Тимофей. Правая — только подводы. Ни пешех, ни скота, ни верховых. Левая — всё остальное, и там же встречное. Ставь Архипа на дальний перекрёсток, сам держи ближний.

— Пешех куда денем? — спросил Тимофей. — Их больше, чем всего.

— На левую. И пусть идут, не стоят. Стоячий пешех хуже телеги.

— Ругаться будут.

— Пускай.

Он пошёл. Я слышал, как он начал сразу, от ворот, ровным своим уставным голосом, без крика и без объяснений:

— Подводы направо. Пешех налево. Подводы направо.

Возчик с передней остановил коня.

— Слышь, служивый. Правда, что сдают?

— Направо.

— Ты скажи, сдают или нет. Мне бабу забирать али не забирать.

— Забирай. Направо.

— Так сдают?

— Я тебе говорю: направо, — сказал Тимофей тем же голосом, каким сказал в первый раз. — Поедешь направо — успеешь за бабой. Будешь тут стоять и меня пытаться — не успеешь.

Возчик тронул.

За ним стал спрашивать второй, потом третий, потом какой-то в штатском пальто с чемоданом. Тимофей отвечал всем одно и то же. Он не сказал за всё утро ни единого слова о городе — только куда ехать, — и очередь двигалась.

Гаврила подошёл ко мне с льюисом на плече и стал рядом.

— Считай сразу, командир. Чтоб потом не спорить.

— Считай.

— Четыре диска. Мятый пятый — не в счёт, я его повешу отдельно, на самый край. — Он поправил ремень. — Диск — это мне на короткие, вразбивку. Хватит на четыре минуты, если бить, как я умею. Если бить, как ты попросишь, — на три.

— Почему на три?

— Потому что ты попросишь длинно.

Я запомнил: один диск — четыре минуты. Не двадцать, не десять — четыре, и то не подряд.

Первая подвода вышла из ворот в девятом часу.

Улица пропускала быстрее, чем двор грузил. Чтобы вывести одну подводу, надо было донести с соломы шестерых, уложить, увязать и найти возчика; носильщиков было меньше, чем носилок. Так прошёл день. К ночи подводы всё ещё выходили по одной.

* * *

Ночью с окраины стало слышно.

Сперва редко, потом чаще, потом ровно. К четырём часам стреляли уже с трёх сторон, и по улицам пошёл тот особый ночной ход, когда не бегут, а быстро идут и не оглядываются.

Мы стояли на выходе.

Место я взял хорошее. Каменный лабаз на углу, второй этаж, окно на перекрёсток. Оттуда простреливалась вся Мещанская до самого поворота — та самая улица, по которой шли подводы. Такое место за неделю не найдёшь. Я нашёл за час и был этим доволен ровно до половины пятого.

В четыре сотня, стоявшая на северном перекрёстке, начала отходить.

Они шли мимо нас в пешем строю, ведя коней, и шли молча. Сотник на ходу мне кивнул. Я его не знал.

— Долго вы тут? — спросил он.

— Покуда подводы идут.

— Слева никого нет.

— Совсем?

— Совсем, — сказал он и пошёл дальше.

Слева никого не было. Значит, к рассвету у меня будет открыт бок, и держать его нечем и некем.

Архипа я снял с дальнего перекрёстка и послал проверить Соляную. За ним порядок там продержался недолго.

В половине пятого встали подводы.

Тимофей прислал Мишку.

— Три застряли! На горбу! Свернули на левую! Первая колесом в водосток, вторая в неё, третья поперёк!

— Кони целы?

— Целы. Возчики бросили и ушли.

Я пошёл сам.

Горб был на левой улице. Без Архипа три наших возчика на дальнем перекрёстке пошли за чужой подводой и свернули не туда. Тимофей уже был там. Он работал левой рукой и голосом — больше у него ничего не было, и больше ему не понадобилось.

— Вываживай назад. Назад, не вперёд. Ты — под колесо. Ты — за оглоблю. Разом.

Подводу качнули. Она села глубже.

— Разгружай, — сказал Тимофей.

— Там раненые.

— Раненых на землю. Троих. Потом обратно.

Их сняли на землю, прямо в грязь, и один закричал. Тимофей на крик не обернулся. Подводу вытянули пустой, потом наложили снова. На всё ушло восемь минут.

Восемь минут. Я считал их поштучно.

По дороге назад меня нашёл Архип.

— Конные, — сказал он. — По Соляной, это через квартал. Идут шагом, разъездом. Голов шесть.

— К нам свернут?
— Свернут, когда услышат наших. — Он помолчал. — Услышат скоро.
— Мишку ко мне. И сам стань у поворота, где подводы выходят. Если сунутся — не стреляй, свистни.
— Свистну.
Когда я вернулся в лабаз, стреляли уже близко, за два квартала.
— Идут, — сказал Гаврила от окна.
— Сколько вижу, столько и есть?
— Пока да.
Он ударил коротко. Раз. Потом ещё раз. Потом переждал и ударил третий.
Внизу, по Мещанской, шли подводы.
Свистнул Архип — коротко, дважды.
Я подошёл к окну.
Гаврила чуть повёл стволом и ударил без слов. Три выстрела. Внизу заржало, и по мостовой пошёл drobный отбой копыт назад, в темноту.
Гаврила приподнялся на локте, посмотрел вниз.
— Один.
— Живой?
— Конь.
Он вернул ствол на перекрёсток.
Гаврила бил редко, по три-четыре выстрела, и после каждого коротко ждал. Он не давал им перебежать перекрёсток. Он не убивал их — он им мешал. И этого пока хватало.
— Сколько вышло? — крикнул я вниз.
— Четырнадцать! — донёсся Мишкин голос.
Четырнадцать из двадцати двух. Восемь во дворе.
Слева стукнуло.
Не с Мещанской — из-за домов, оттуда, где с четырёх часов не было никого. Стукнуло раз, потом коротко зачастило.
Гаврила выругался и перевалился к другому окну.
— Пешие. Дворами лезут. Их там немного.
— Бей.
— Я не могу в две стороны с одного места.
— Бей туда, я гляжу сюда.
Он ударил влево. Раз, второй. Во дворах стихло, потом опять затрещало, уже с другого угла.
— Уйдут за сарай и обойдут, — сказал Гаврила. — Мне их каждый раз доставать по новой.
Он достал их ещё дважды. На второй раз диск кончился.
Один диск ушёл на пустой левый бок — туда, где не осталось Архипа.
— Гаврила. Сколько мне надо на восемь подвод?
Он не ответил сразу. Он менял диск, и делал это медленно, потому что торопиться тут нельзя.
— Подвода идёт от ворот до поворота четыре минуты, — сказал он. — Восемь подвод в затылок — минут двадцать пять. Если гнать — двадцать.
— Дай двадцать.
— Нет.
Он сказал это просто, не оборачиваясь, и продолжал возиться с диском.
— Что нет?

— Двадцати нет, командир. У меня их одиннадцать. — Он щёлкнул защёлкой и лёг обратно к окну. — Два диска я сжёг. Осталось два целых и мятый. Два целых — это восемь минут, если коротко. Мятый — это три, и то может стать колом на второй. Одиннадцать. Двадцати нет и не будет.

Я стоял и молчал.

— А если длиннее очередь?

— Тогда семь.

— А если реже?

— Тогда они пойдут через перекрёсток. — Он повернул голову. — Ты меня спроси лучше, что за одиннадцать минут вывезти.

— Что?

— Пять подвод. Не восемь.

Пять из восьми. Три остаются.

Я сбежал вниз.

Во дворе гимназии стояли восемь подвод. На четырёх лежали раненые. На трёх — тюки, ящики, ротные котлы, аптечные сундуки, всё лазаретное добро, которое смотритель собирал два дня и грузил бережно, слоями. Восьмая была под самым смотрителем и его писарем.

— Распрягай эти три, — сказал я.

Смотритель встал у оглобли.

— Это лазарет. Без этого лазарет не лазарет, а сарай.

— Кони с них — под три, что с людьми. Пойдут парой, быстрее.

— Вы понимаете, что вы делаете?

— Понимаю. Распрягай.

— Я не дам.

Он был немолодой, в шинели без погон, и держался за оглоблю обеими руками, и я видел, что он не за имущество держится, а за то, что два дня складывал слоями и уложил хорошо.

— Слушай меня, — сказал я. — Через одиннадцать минут по этой улице пойдут не подводы. Что выехало — то твоё. Что стоит — то ничьё. Хочешь стоять с ящиками — стой, я тебя не трону.

Он подержался за оглоблю ещё немного. Потом отпустил.

— Сундук с корпией, — сказал он. — Один. Он маленький.

— Один бери.

Распрягали в четыре руки — я и писарь, потому что смотритель ушёл к раненым и назад не глядел.

Постромки взмокли и не поддавались. Писарь рвал их ногтями. Я срезал ножом.

Писарь отдёргнул руки.

— Так нельзя. Это же упряжь.

— Режь.

Он взял мой нож и стал резать сам, и резал уже быстрее меня.

Коней подвели к трём подводам, где лежали люди, и запрягли парой. Кони были не в пару — один рослый, гнедой, другой мелкий и мохнатый, — и шли они дурно, вразнобой, но шли.

— Первая! — крикнул Тимофей от ворот.

Пошла первая пара.

— Вторая!

Мишка стоял у створки с листом и черкал.

— Пятнадцатая, — говорил он. — Шестнадцатая. Семнадцатая. Восемнадцатая.

Смотритель сел на девятнадцатую, поставил сундук между колен и обхватил его двумя руками, как обхватывают ребёнка. На три оставшиеся подводы он не обернулся ни разу.

У ворот, в темноте, лежало то, что успели стащить с трёх оставленных подвод, пока искали сундук с корпией: тюки, котлы, сундуки с медью на углах. Остальное темнело на них во дворе. Кто-то уже раскидывал верхний тюк ногой.

Гаврила бил сверху, коротко и всё реже.

* * *

Последняя вышла в двадцать минут шестого.

Я стоял у ворот и считал сам, вслух, чтобы не сбиться, и на восемнадцатой сбился всё равно, потому что мимо в этот момент провели раненого, который шёл сам и держался за постромку. Мишка подсказал: восемнадцатая. Девятнадцатая была последней — та, где смотритель сидел рядом с возчиком, придерживая на коленях маленький сундук.

Три подводы остались во дворе. На них лежало лазаретное имущество, под ними не было коней: кони ушли под людей. Я знал это заранее и всё равно постоял лишнюю секунду, глядя на задранные оглобли.

— Гаврила! Уходим!

Он не отозвался.

Я поднялся. Он лежал у окна, и льюис смотрел вдоль Мещанской, и внизу, у поворота, что-то горело — не дом, а какая-то брошенная куча, и от неё по мостовой шёл дрожащий свет.

— Уходим.

— погоди, командир. — Он не повернул головы. — Тут хорошо.

Тут действительно было хорошо. С этого окна улица простреливалась насквозь до самого поворота, а сзади была глухая стена и лестница в переулок, куда никто бы не полез.

— Сколько у тебя?

— Диск и мятый.

— Значит, надёжных четыре минуты.

— Четыре, — согласился он. — А их вон сколько идёт. Я их тут четыре минуты подержу. Потом мятым — сколько даст. Может, до свету.

Я стоял у него за спиной. Гаврила не отнимал щеки от приклада.

Я знал, что будет с городом. Гаврила — нет.

— Девятнадцать подвод вышло, — сказал я. — На восемнадцати сто с лишним человек. Они сейчас на дороге, растянулись версты на полторы, и над ними никого нет.

Гаврила молчал.

— Если ты тут останешься, ты поддержишь эту улицу. Улицу, Гаврила. Не их.

Гаврила снял руку с приклада и положил на подоконник.

— Вот и считай. — Я взял его за плечо. — Вставай.

Он встал. Взял льюис, снял с гвоздя мятый диск, который повесил там отдельно, на самый край, как обещал. Оглядел окно ещё раз — быстро, как оглядывают то, к чему не вернуться, — и пошёл к лестнице первым, не оглядываясь больше.

На лестнице было темно, и мы спускались наощупь, держась за стену. Внизу, в переулке, стояли наши кони — Мишка держал всех пятерых и, когда мы вышли, отдал повод так быстро, будто боялся, что мы передумаем и полезем обратно.

— Все? — спросил он.

— Все.

Мы вышли из города по левой, кривой улице, через горб, мимо водостока, где ночью сели три подводы.

К семи часам за спиной у нас перестало быть тихо совсем. К девяти по южной дороге пошли последние — не строем, а как идут люди, которых больше никто никуда не строит.

Мы держались обочиной, справа от колонны, и шли шагом, потому что быстрее подвод всё равно не уйдёшь, а бросать их было незачем и некуда.

Гаврила ехал молча. Он ехал так с самого переулка, и льюис лежал у него поперёк седла, а не за спиной, как он возил его всегда на марше. Тимофей поглядел на это раз, поглядел другой и отстал ко мне.

— Обиделся, — вполголоса.

— Не обиделся.

— А что тогда?

— Считает.

Тимофей подумал.

— Это хуже, — сказал он и уехал вперёд.

Двадцать четвёртого Воронежа за нами уже не было, и об этом никто ничего не объявлял. Просто с севера перестали приходить. Часа в два по колонне прошёл слух, потом второй, потом третий, и все три расходились в подробностях и сходились в одном. К вечеру никто уже и не спорил.

Я слушал эти разговоры с обочины и не поправил ни одного. Поправлять было нечем: я знал только число, а числа в разговорах и так хватало.

Один раз мимо нас прошёл офицер без шапки, ведя коня, и на ходу спросил у Тимофея, где собирают части. Тимофей ответил, что не знает. Офицер спросил, кто знает. Тимофей ответил, что не знает и этого. Офицер постоял, поглядел на нашу обочину, на подводы, на раненых, потом пошёл дальше вдоль колонны и стал спрашивать у следующих.

На привале Мишка подошёл ко мне с листом и стал докладывать, как докладывают взрослые, — по порядку и не поднимая глаз.

— Из лазарета вышло девятнадцать подвод. С лежачими — восемнадцать: сто восемь мест. Двоих не положили, четверых сняли по дороге — осталось сто два. Ходячих при колонне шестьдесят с чем-то, они то пристают, то отстают, точно не скажу.

— А во дворе?

Он помолчал.

— Три подводы с имуществом. Все без коней, оглоблями вверх.

— Это ты видел или это ты знаешь?

— Видел, — сказал Мишка. — Когда назад бегал за вами.

— Не пиши то, чего не видел.

— Я и не пишу.

Гаврила при этом разговоре сидел рядом и чистил льюис. Он разобрал его целиком, хотя чистить было не по чему и не время, и делал это долго, обстоятельно, вытирая каждую часть по два раза.

— Диск и мятый, — сказал он в пространство, ни к кому не обращаясь. — Было пять.

Никто ему не ответил, и он, кажется, ответа и не ждал.

Мы нагнали свои подводы на девятой версте.

Они стояли. Все девятнадцать, в затылок, вдоль обочины.

Тимофей приподнялся в стременах.

— Опять?

— Не опять, — ответил Архип. Он вернулся от головы колонны и стоял, потирая пальцем под носом. — Впереди рельс. На рельсе состав. Санитарный, с ранеными, полон. Стоит вторые сутки, и переезд им заперт.

— Обойти можно?

— Подводам можно. Составу нельзя.

Я поглядел вдоль колонны — на подводы, на раненых, на смотрителя с его сундуком, — потом на Мишку.

— Пиши. Состав. Сколько вагонов, сколько в них, чего им не хватает.

Мишка достал карандаш и послунил его.

Глава 3. Последний эшелон

Состав стоял в выемке, за переездом, и карболкой от него тянуло далеко вдоль дороги.

Мы подъехали к нему в сумерках двадцать четвёртого. Восемь вагонов, из них шесть теплушек с нарами в два яруса, один классный, обшарпанный, с выбитым нижним стеклом, и один в хвосте, крытый, где везли имущество. Паровоз стоял под парами, но не двигался: труба чуть дымила, а из-под колёс не шло ничего. Вдоль насыпи, по обе стороны, лежали и сидели люди — не в вагонах, а под ними и около. Двери открывали только по счёту фельдшера, а уйти от состава никто не решался, покуда есть хоть какая надежда, что он тронется.

Подводы я поставил не у самого состава, а поодаль, за переездом, в поле.

Тимофей развёл их сам, без меня: подводы в два ряда, оглоблями в одну сторону, кони с внешней стороны, костры между рядами, а не под телегами. Он проходил вдоль и говорил каждому возчику одно и то же по два раза, и на третьем возчике я перестал за ним смотреть, потому что смотреть было не на что: он делал то, что умел.

— Зачем в два ряда? — спросил Мишка.

— Затем, что в один ряд они растянутся на версту, и я их не обойду за ночь.

— А обходить зачем?

— Затем, что я их обойду.

Мишка подумал и записал себе число рядов. Слова он к тому времени записывать уже перестал: в лист у него шло только сделанное.

Между шпал ходил человек в замасленном полушубке и стучал молоточком по колёсам.

Он делал это неспешно, вагон за вагоном, и после каждого удара наклонял голову набок и слушал. Я поглядел на него минуты две, прежде чем подойти. За эти две минуты он ни разу не ускорился.

— Хозяин тут кто? — спросил я.

Он ударил ещё раз, послушал и только потом выпрямился.

— Хозяина нету. Есть я.

— Ты кто?

— Рябов Матвей Елисеевич, мастер. С линии. Меня третьего дня прислали, а кто прислал — тот уже уехал.

— Отчего стоит?

— По трём причинам.

По голосу было слышно: этот ответ он повторял уже не раз.

— Первая — вода. Тендер сухой на три четверти. Водокачка на разъезде цела, да качать нечем: движок сняли ещё в сентябре, а ручной насос есть. К нему нужно человек тридцать на смены. По этому насосу — не меньше четырёх часов, если смены выдержат. До рабочей отметки, не до полного тендера. Вторая — порядок. У третьего вагона одна серьга задней стяжки надорвана, передняя цела, а за вагоном ещё пять. На подъёме потянут — лопнет. Его надо переставить в хвост, чтоб за большим концом ничего не было, а для этого нужен тупик и полчаса маневра. Третья — стрелка на выходе. Она стоит на боковую ветку, и на боковой у меня в двух верстах другой состав, брошенный. Переводить надо руками, запор сорван. Остряк можно закрепить клином, только человек должен остаться при нём, покуда я пройду.

Он замолчал. Я стоял и пересчитывал: тридцать человек, четыре часа, полчаса маневра, один человек на стрелке.

— Ты по порядку назвал или по важности?

Матвей поглядел на меня внимательнее, чем глядел до сих пор.

— По порядку. По важности — вода. Без воды я и с места не сдвинуся, а со сцепкой можно рискнуть, если трогать без рывка. Только подъём длинный.

— А если я тебе дам приказ?

— Кому дашь?

— Тебе.

— А мне не надо, — сказал он спокойно. — Я и без приказа делаю. Ты его лучше воде дай. Тимофей за моей спиной кашлянул.

— Ты, мастер, не дерзи, — сказал он ровно. — Он тебе не полковой писарь.

— Я не дерзю. — Матвей постучал молоточком по бандажу, послушал и пошёл к следующему колесу. — Я говорю, как есть. На войне это, я гляжу, редко нужно.

Я пошёл за ним.

Он не оборачивался и не сбивался с шага, но и не гнал, — шёл так, чтобы человеку, идущему сзади, было удобно слушать.

— Матвей Елисеевич. Тридцать человек у меня есть. Считай, что вода твоя.

— Тогда четыре часа.

— За четыре часа сюда может кто-нибудь прийти.

— Может, — согласился он. — Только раньше воды всё равно не поедем. Хоть ты тут стой, хоть в трубу труби. Железо, оно не спрашивает, кто у тебя старший.

Он ударил по колесу. Звук вышел глухой, короткий. Матвей ударил рядом ещё раз — металл отозвался так же.

— Слышишь?

— Слышу.

— А что слышишь?

— Не звенит.

— Верно. Трещина. — Он присел, провёл пальцем по бандажу и вытер палец о полушубок. — Восьмой вагон, задняя тележка. Его надо отцепить и бросить, и это моя четвёртая причина, которой я тебе не назвал, потому что ты про три спрашивал.

— Что в восьмом?

— Имущество. Чьё — не знаю, и никто мне не сказал.

Я поглядел вдоль состава. Восьмой был тот самый, крытый, в хвосте.

— Отцепляй.

Матвей чуть шевельнул углом рта — впервые за весь разговор.

— Вот это ты хорошо сказал. Быстро.

К девяти часам у нас был счёт: четыре часа воды, полчаса маневра, один человек на стрелке и один вагон на боковой. Мишка записал всё это на своём листе четырьмя строчками и, пока писал, дважды переспросил, как пишется «тендер».

* * *

Ночью с подвод полезли на состав.

Не воры. Свои же — ходячие, отставшие, бабы с детьми, возчики. Состав стоял, в теплушках были нары, а на дворе была ночь, и всякий, кто мог подтянуться на руках, лез в открытую дверь.

Их выкидывали обратно.

Выкидывал человек в накинутах на плечи шинели, с потёртой фельдшерской сумкой через грудь, и делал это без крика и без злобы, но так, что второй раз к той же двери не подходили.

— Вниз, — говорил он. — Вниз. Не сюда.

— Куда ж нам?

— На землю. К кострам. Сюда нельзя.

Я подошёл. Он обернулся, посмотрел на меня снизу вверх и вернулся к двери.

— Левченко, — сказал он. — Фельдшер. Вы командир этих подвод?

— Я.

— Заберите своих. У меня тут раненые, и я их вам мешать не дам.

— Мои тоже раненые.

— Ваши — не все.

Он подтянул лямку сумки и повернулся ко мне всем корпусом.

— У вас в обозе, на четвёртой подводе с хвоста, лежит человек. Без раны. Второй такой — при кострах, я его видел, он ходячий и он всех обнимает, потому что ему холодно.

— И что?

— И то, что если они лягут на эти нары, то через две недели горячечные могут пойти по всем вагонам, а состав дальше не пустят. — Он говорил ровно и негромко, тем голосом, каким считают вслух. — Я их туда не пушу.

— Ты знаешь, что с ними?

— Нет.

— А говоришь.

— Я не говорю, что с ними. Я говорю, куда их нельзя.

— Куда их можно?

— Отдельно. На землю, у своего костра, своя посуда, своя вода. Кто ходит — пусть ходит, только не в толпе. С неделю смотреть будем. Тогда станет яснее.

— А если это простуда?

— Тогда через неделю у нас будет два здоровых человека и я останусь дураком. — Он поправил сумку. — Я на это согласен.

Тут к вагону подошла баба с ребёнком на руках.

Ребёнок был закутан по глаза. Баба не просила и не плакала — она просто подошла и стала подавать его вверх, в дверь, обеими руками, как подают ведро.

— Возьмите. Он горячий.

Игнат не пошевелился.

— Не возьму.

— Он горячий!

— Оттого и не возьму.

Она стояла и держала ребёнка на весу. Руки у неё дрожали, и было видно, что долго она так не выстоит.

Вокруг стали.

Я это почувствовал раньше, чем увидел: у костров перестали разговаривать, и от подвод потянулись глядеть. Двое возчиков подошли близко. Кто-то сзади сказал вполголоса, что фельдшер тут, видать, главное командира.

— Левченко.

— Слушаю.

— Возьми ребёнка.

Он повернулся ко мне.

— Нет.

Он сказал это негромко и при всех.

— Я приказал.

— Вы приказали не то, чем распоряжаетесь. — Он спустился на одну ступеньку, чтобы стоять со мной вровень. — Хотите — снимите меня. Вагон всё равно не откроется.

— Отчего?

— Оттого, что открывать буду я, а я не открою.

Мы постояли. Баба держала ребёнка. Возчики глядели.

— Что ты можешь ему дать? — спросил я.

— Тёплое место на земле, отдельный костёр, свою посуду и чтоб с ним не сидели чужие. Это я могу нынче. — Он повернулся к бабе. — Пойдёшь со мной?

Она поглядела на меня. Я кивнул.

Она опустила ребёнка и пошла за Игнатом. Он отвёл её за насос, подальше от наших подвод. Двое возчиков, поглядев им вслед, отошли к своим кострам, и на том всё кончилось. Я остался стоять у вагона.

Простоял.

Потом я велел Тимофею отвести тех двоих за дальний костёр и поставить им свой. Тимофей отвёл, ни о чём не спросив.

Перед рассветом Игнат отдал нашим тяжёлым девятнадцать мест, которые держал свободными.

Он отобрал их сам, обойдя подводы дважды, и брал не тех, кто хуже, а тех, кого дорога добьёт вернее прочих. Смотритель ходил за ним и путался под ногами, показывая свои меловые пометки на руках.

— Тут помечено, — говорил он. — Я вчера помечал.

— Вчера.

— Я по правилу помечал!

— Верю, — отвечал Игнат и шёл дальше.

Девятнадцать перенесли. Их поднимали в двери на руках, по одному, и на каждого уходило минуты по три, потому что проход в вагоне оставался только на ширину плеч и разойтись там было негде.

Восемьдесят три человека остались на подводах.

Пока поднимали девятнадцатого, я считал в уме, сколько подвод у меня освободится. До перекладки люди лежали на всех восемнадцати. На бумаге восемьдесят три человека занимали четырнадцать подвод. В дороге считали иначе: кто с кем лежит и кого можно лишний раз двигать. Тимофей потом перекладывал их полтора часа и освободил две.

Две подводы. Их сразу заняли ходячие с узлами.

Потом я пошёл вдоль вагонов.

Я шёл и заглядывал в двери, и в каждой двери было одно и то же: два яруса нар, на нарах вповалку, между нарами узкий проход, и в этом проходе кто-нибудь сидел на корточках, потому что лечь было негде. Пахло карболкой, невытым телом и мокрым деревом. Я прошёл четыре вагона и в пятом окликнул — не потому, что рассчитывал, а потому, что уже не мог не окликать.

— Аникей!

Сверху, со второго яруса, кто-то заворочался.

— Кто зовёт?

Я узнал голос раньше, чем разобрал слово.

Он лежал у самой стенки, головой к двери, и правая нога у него была в лубке от бедра, и лубок был чем-то подмотан поверх, потому что бинта не хватало. Лицо стало незнакомое. Не худое — стёршееся, как стирается лицо у человека, который три недели лежит и глядит в потолок вагона.

Он повернул голову и увидел меня. И сразу засмеялся.

— Ты гляди, — сказал он. — Пришёл.

— Пришёл.

— Я говорил соседу, что придёшь. Он не верил.

Сосед на нижних нарах не шевельнулся и, кажется, спал.

— Как нога?

— На месте.

Он посмотрел на меня, потом на свою ногу, потом опять на меня.

— Пальцы не чую с той недели, — сказал он. — Врач сказал, может, и обойдётся.

— Значит, обойдётся.

— Значит, обойдётся, — согласился он.

Помолчали.

— Наши как?

— Все живые. Гаврила тут, Архип, Тимофей, Мишка.

— Мишка вырос?

— Вырос.

— Скажи ему, чтоб не лез вперёд.

— Скажу.

Он опять помолчал, а потом спросил то, что я ждал и чего не хотел.

— Я к вам вернусь?

Можно было сказать, что вернётся. Он бы поверил. Не по глупости: в вагоне, где три недели глядишь в потолок, верят почти всему. И это стоило бы мне одной секунды, а ему — потом — куда больше.

— Не знаю, — сказал я.

Он кивнул.

— Ну и ладно.

— Состав ночью пойдёт. Воду наберём — пойдёт.

— Далеко?

— Дальше отсюда.

— Это хорошо, — сказал Аникей. — Тут стоять — хуже нет.

Я постоял ещё немного. Потом снял с себя флягу с водой и поставил ему на нары.

— Пироксилину у вас, стало быть, некому вязать, — сказал он вдруг.

— Некому.

— Ну вот. — Он отвернулся к стенке. — Иди, командир. У тебя вода.

Я слез с подножки. Игнат стоял внизу, у соседнего вагона, и делал вид, что смотрит в другую сторону.

— Ваш? — спросил он.

— Мой.

— Нога плохая, — сказал он. — Я не про эту неделю. Я вообще.

— Знаю.

— Знаете, — повторил он. И, помолчав, добавил: — Тогда не спрашивайте меня при нём.

* * *

Воду брали до рабочей отметки четыре часа.

Мишка собрал людей сам — я велел ему собрать тридцать, а он привёл сорок два, потому что обходил костры с листом в руке и с одним и тем же вопросом: «Вы на воду пойдёте? Как звать?» Взрослые люди, которые час назад отказывали урядникам и подхорунжим, называли ему имена и вставали.

Насос был ручной, в две рукояти, и качать им можно было вчетвером.

Первая смена встала бодро и выдохлась на восьмой минуте. Рукояти ходили тяжело, вразнобой, вода шла толчками, и на каждом толчке из соединения било в стороны, и все четверо промокли до пояса. Через четверть часа они отошли к костру и сели там молча, не разговаривая между собой.

Вторую смену Мишка поставил уже иначе: двое рослых на одну рукоять, двое поменьше на другую, и велел им считать вслух. Считали до восьми и на восемь меняли руки. Пошло ровнее.

Один из тех, кого Мишка поставил следом, не встал от костра. Сидел, засунув кисти под мышки, и глядел на рукояти.

— Козлов Яков, — прочёл Мишка. — Ваша смена.

— Руки не гнутся.

— Давеча гнулись.

Мужик вынул кисти. На ладонях у него лопнули две старые мозоли, кровь смешалась с грязью.

— Вот тебе и гнулись.

Мишка посмотрел на ладони, потом на свой лист. В листе мозолей не было.

— Кто его сменит? — спросил он у меня.

— Я.

— Вы не записаны.

— Запиши.

— Вас потом кто сменит?

— До потом доживём.

— Так нельзя, — сказал Мишка. Он сказал это не мне, а листу. — Если вас поставить вместо него, у нас одного не будет в последней четвёрке.

Он оглянулся и увидел Тимофея.

— Тимофей Ильич! Вы можете?

Тимофей поднял левую руку, показал её и опустил.

— Одна. На насосе две нужны.

— Тогда ты, — сказал Мишка кому-то у огня. — Как зовут?

— Павел.

— А ещё?

— На что тебе ещё?

— Фамилия.

— Нету фамилии. Пиши Павел.

Мишка передвинул в последнюю четвёрку Павла из подменных, зачеркнул мужика с лопнувшими ладонями и на его строке написал меня — подменным. Сам он на рукоять не пошёл. Был тоньше многих и понимал это; он делал то, что у него выходило лучше, — держал людей в их очереди.

Я отстоял свою четверть часа во второй смене и ещё четверть в четвёртой. На второй моей четверти рукоять берёшь уже не руками, а плечами и спиной, и то место в плече, которое зажило, начинает напоминать о себе тем, что перестаёт слушаться на счёт «шесть». Я досчитал до восьми и передал рукоять Матвею.

— Долго ещё? — спросил кто-то от костра.

— До света, — ответил Матвей, не оборачиваясь.

— А сколько уже налили?

— Четверть.

От костра застонали.

— Не стони, — сказал Матвей. — Стонать будешь, когда я скажу «полтендера». Вот тогда самое время.

Мишка ходил вдоль и вёл счёт сменам. Из сорока двух человек он составил десять четвёрок, двоих оставил подменять тех, у кого сводило руки, и велел меняться через четверть часа. За четыре часа он не сбился ни разу, хотя к трём люди уже путались сами: одни лезли качать вне очереди, другие прятались за чужими спинами. Мишка находил и тех и других. Тех, кто лез не в свою, он отгонял. Тех, кто прятался, звал по имени — и они шли, потому что стыдно было при своих же.

К утру у него на листе стояло сорок два имени и против каждого — палочки.

Матвей маневрировал в четвёртом часу.

Он делал это сам, стоя на подножке паровоза и перекрикиваясь с машинистом. Сперва отцепил крытый восьмой вагон с трещиной в бандаже и оставил на боковой. Потом переставил третий вагон в хвост, чтобы за надорванной серьгой больше ничего не было. Всё заняло

больше часа: тупик был короткий, заходить пришлось дважды. Имущество из восьмого никто не выгружал — не было ни рук, ни времени, ни того, кто бы за это отвечал.

Гаврила всю ночь пролежал на бугре за выемкой, с той стороны, откуда мы пришли.

У него оставался диск и мятый, и он не выстрелил ни разу — и, спустившись, сказал об этом первым делом, раньше всего остального, потому что за две ночи это стало у него единственной цифрой, которую он докладывал без спроса. Под утро он спустился, весь мокрый от росы, и сказал, что дважды слышал конных на дороге и оба раза они поворачивали, не доходя до переезда: у костров люди сменялись у насоса и ругались, и конный разъезд ночью не мог понять, сколько нас здесь.

Стрелку держал Архип.

Запор был сорван. Матвей перевёл стрелку вручную, плотно прижал остряк и забил у рычага плоский железный клин. Архип должен был следить за креплением, покуда пройдёт состав: если остряк отойдёт под вагонами, колёса разойдутся по двум путям.

Матвей объяснил это один раз, показал, где браться, и спросил, понял ли.

— Понял, — сказал Архип.

— Рычаг руками не держи. Гляди на клин.

— Знаю.

— Поползёт — маши машинисту. Под вагоны не лезь.

— Не лезу.

Больше они не разговаривали. Матвей ушёл к паровозу, а Архип снял шапку, положил её на насыпь, чтоб не мешала, и встал рядом с переводным рычагом, не спуская глаз с клина.

Состав шёл мимо него минуту с небольшим.

Я стоял неподалёку и видел его всё это время: маленький, в тулупчике, боком к движению, он не менял положения, а на каждом стыке железо под ногами дёргалось. Когда миновала середина состава, Архип нагнулся, проверил клин взглядом и опять выпрямился. Руками не тронул.

Когда прошёл последний вагон, он ещё постоял, будто не поверил, что уже можно. Потом тронул клин носком сапога, поднял шапку, отряхнул её о колено и надел.

Был шестой час утра двадцать пятого.

Состав шёл медленно, шибче человека, но не намного, и от паровоза далеко было слышно, как он берёт подъём за выемкой — тяжело, с натугой, с редким разговором железа. Люди у костров вставали и смотрели ему вслед. Никто не кричал и не махал. У открытой двери сидел, свесив здоровую ногу, Аникей, — я видел его секунды три, и он меня, кажется, тоже.

Потом состав вошёл в поворот, и его не стало.

Мы вернулись к переезду раньше Матвея. Когда паровоз прошёл стрелку, он соскочил с подножки и остался у остряка, глядя, как проходят колёса. Теперь он пришёл оттуда пешком, больше версты, остановился у переезда с молоточком в руке и поглядел вслед составу.

— Тебе куда теперь, Матвей Елисеевич?

— Домой мне, — сказал он. — Только дом мой на линии, а линия вон туда пошла.

— С нами пойдёшь?

Он поглядел на подводы, на конных, на Гаврилу с льюисом, на бабу, которая привязывала узел к задку.

— Пойду. С условием.

— Говори.

— Когда я про железо говорю, ты слушаешь. Не соглашаешься — дело твоё, а слушаешь до конца. Я длинно не говорю.

— Согласен.

— Тогда слушай первое. — Он показал молоточком вдоль путей, туда, куда ушёл состав.

— Они пошли на Лиски. Эта ветка выводит туда. В Лисках две дороги сходятся крестом,

четыре направления и мост через Дон. Поезда с четырёх сторон и подводы, которые потянутся к переправам, могут встретиться там.

— Долго им идти?

— Сутки, если нигде не станут. Станут.

Он присел на корточки и молоточком начертил на земле две пересекающиеся черты, а рядом — реку.

— Вот путь от нас. Вот поперечный. Здесь станция, здесь мост. Сойдутся они тут. — Он ткнул молоточком в перекрестье и растёр черту ладонью. — Кто первый займёт это место, тот и решит, кому куда ехать. Я тебе не про войну говорю, я тебе про узел говорю. Узел один.

— А подводам?

— Подводам колея не нужна. Подводам нужна переправа.

Он встал, отряхнул колени и убрал молоточек за пазуху.

— Ты меня спросил, я ответил. Больше я про это говорить не стану, покуда сам не увижу.

Игнат подошёл к нам, застёгивая на ходу шинель.

— Двое ваших остались, — сказал он мне. — Те, которых я не пустил. К утру их стало трое. Женщина с ребёнком тоже со мной, у дальнего костра.

— Третий кто?

— Возчик с семнадцатой подводы. Он вчера ночью помогал качать воду.

Он поправил ляжку сумки и посмотрел на меня, дожидаясь.

— Ходячих с одной подводы снимите. Всех пятерых — на неё, — сказал я. — И сами при них.

— Я и так при них.

К семи часам колонна вытянулась на дорогу. Впереди шли подводы, за ними пешие, в хвосте — одна подвода, отделённая от прочих широким разрывом. На ней сидели трое мужчин и женщина с ребёнком, а рядом шёл человек с фельдшерской сумкой. Матвей ехал в голове, на чужой лошади, и всю дорогу молчал.

Мишка вписал в свой лист две новые строки — «Рябов М. Е., мастер» и «Левченко И. Ф., фельдшер», — и подвёл под сорока двумя именами водяной смены черту.

Глава 4. Лиски

Станция открылась нам с бугра вся разом, и я сразу увидел: на ней всё занято.

Двадцать шестое, начало седьмого. Пути стояли полные. Вагоны, вагоны, платформы с чем-то под брезентом, цистерна, опять вагоны. Между составами не было просвета. Чужих паровозов я насчитал три, и все три — без дыма.

Наш состав стоял с краю, на четвёртом пути, и был единственный под парами.

За сутки он ушёл недалеко: перед Лисками пробка снова поставила его. Мы нагнали его под утро.

За ночь к нашим девятнадцати подводам пристали ещё двадцать две: девять с овсом и сеном, остальные — из разорванных обозов. С последними ехали девятнадцать раненых, которые сами дороги не выдержали бы. Игнат осмотрел их ещё до рассвета.

— С жаром? — спросил я.

— Ни одного. Этих можно к нашим.

Тимофей отдал лазаретному смотрителю две из новых телег и распределил раненых по всем двадцати одной. В списке смотрителя снова стало сто два человека: восемьдесят три, оставшиеся на подводах после эшелона, и эти девятнадцать. Перед бугром Тимофей мелом поставил на своей доске три числа: двадцать одна лазаретная, девять фуражных, одиннадцать прочих. Всего сорок одна.

— Куда они все? — спросил Мишка.

— Никуда, — сказал Матвей. — Это пробка.

Он слез с лошади, не доехав до путей, и дальше пошёл пешком.

Я пошёл за ним.

Он шёл вдоль насыпи и смотрел не на вагоны, а под них — на рельсы, на стыки, на стрелочные переводы. У третьей стрелки он присел. У пятой присел опять.

— Забита. И эта. И та.

— Чем забита?

— Ничем. Стоят на боковой и заперты составом. Перевести можно, ехать некуда.

Он дошёл до конца горловины и там стоял долго.

Я его не торопил.

Архипа я послал на северный выход, как только мы спустились с бугра. Он ушёл вдоль пакгаузов и вернулся через полчаса — пешком, без лошади, отряхивая с колен угольную пыль.

— Ну?

— Двумя дорогами идут. — Он говорил тихо, и я нагнулся ближе. — Одни по большаку, конные, тех больше. Другие вдоль насыпи, пешие, тех меньше и те ближе.

— Насколько ближе?

— Версты полторы. Я их слышал, не видел.

— Полторы — это сколько по времени?

Архип достал рожок, повертел его в пальцах и убрал не открыв.

— Пешему по путям — час. Только они не пойдут час. Они станут у водокачки и будут глядеть, потому что тут вагонов полно и не поймёшь, есть кто или нет.

— А как поймут?

— Как мы задымим.

Я поглядел на наш состав. Дым из трубы шёл ровно, и его было хорошо видно.

— Стало быть, они уже знают.

— Стало быть, знают.

— Одна, — сказал наконец Матвей.

— Что одна?

— Стрелка одна. Вон та, крайняя, на запасную ветвь. Ветвь идёт вдоль воды и потом заворачивает. По ней можно уйти. Больше отсюда уйти нельзя ничем.

— Она рабочая?

— Она свободная. Рабочая ли — узнаю, как переведу.

Он пошёл к ней. Я послал с ним Тимофея и двоих возчиков покрепче.

Стрелку переводили двадцать минут.

Механизм был цел, но забит землёй и набившейся щепой, и его выбивали ломом и руками. Матвей лёг на насыпь и выгребал из-под остряка щепкой, лёжа на боку. Тимофей левой рукой держал лом, а упор делал плечом. Когда закончили, пальцы у возчиков не сразу разогнулись после железа.

Наконец звякнуло, и остряк лёг.

Матвей сел прямо на шпалы.

— Пошла.

— Она удержится?

— Замка нет. Заклинить можно, только человек должен стоять при ней и смотреть.

— Сколько стоять?

Он посмотрел вдоль состава, посчитал вагоны губами.

— Семь вагонов, тронется с места медленно, потом пойдёт. Девять минут. Может, десять, если машинист станет жалеть котёл.

Я обернулся к станции. За вагонами, где-то на северной стороне, стукнуло, и стукнуло уже отчётливо.

Наш состав стоял в трёхстах шагах, и в третьей теплушке от паровоза была открыта дверь, и в двери сидели двое, свесив ноги.

Я знал, в каком вагоне Аникей. Я его вчера там нашёл.

До него было триста шагов и четыре минуты — туда и обратно бегом, без разговора, просто показаться в двери и уйти. Я эти четыре минуты пересчитал дважды и оба раза получил один и тот же ответ, потому что четыре минуты у стрелки стоили дороже, чем четыре минуты в вагоне, и никакая арифметика этого не меняла.

Я не пошёл.

— Тимофей. Подводы — через пути, вон там, где ровно, и сразу за насыпь. Все. Сейчас.

— Сколько у меня?

— Не знаю. Иди.

* * *

Подводы шли через пути час с четвертью.

До крайней стрелки их проезд не доходил: телеги пересекали станционные пути в стороне, потом скрывались за глухим составом и выходили на южную дорогу.

Их надо было проводить по одной, потому что между составами был проезд в одну телегу, и на каждом рельсе колесо надо было переваливать, и на каждом переваливании кто-нибудь застревал.

На девятой встали намертво.

Колесо ушло между рельсом и настилом и там заклинилось так, что ни назад, ни вперёд. Возчик хлестал коня. Конь рвал и садился на задние. Сзади уже кричали.

Тимофей подошёл, перехватил повод у самых удил и осадил.

— Не тяни.

— Да я...

— Не тяни, говорю. Порвёшь постромки — будешь тут до вечера. Слазь.

Возчик слез. Тимофей поглядел на колесо, поглядел на настил, потом пошёл вдоль состава, стоявшего рядом, и вернулся с доской — короткой, толстой, из-под какого-то ящика.

— Подкладывай под обод. Ты — под ступицу плечом. Ты — на постромку, но не тяни, а веди. По моему счёту.

Подняли с третьего раза.

Доску Тимофей не бросил. Он сунул её под мышку и таскал с собой до самой последней подводы, и она понадобилась ему ещё дважды.

У одной из прочих подвод колесо всё-таки не выдержало. Обод разошёлся уже на крайнем рельсе. Узлы и ящики перекинули на две следующие, коня выпрягли, а телегу вчетвером столкнули с проезда к товарному вагону. Тимофей перечеркнул одну зарубку на доске и повёл дальше сорок.

Он вёл их сам, от первой до последней, и охрип к тому времени, когда пошла двадцатая.

Стреляли уже на станции.

Гаврила лёг на платформе с брезентом, в сорока шагах от горловины, откуда просматривался северный выход и водокачка. Он лежал за колесом, положив льюис на раму, и до половины восьмого не сделал ни выстрела.

Я подошёл к нему в четверть восьмого.

— Видишь?

— Вижу. — Он не поднял головы. — Идут вдоль путей, по двое-трое. Не спешат. Они думают, тут пусто.

— Сколько у тебя?

— Диск и мятый. Ты это знаешь.

— Знаю.

— Тогда не спрашивай. — Он подвинул приклад. — Спроси лучше, сколько это минут.

— Сколько?

— Четыре и три. Три — если мятый пойдёт. Может не пойти.

Мишка в то утро бегал между насыпью и платформой шесть раз.

Я поставил его на связь, потому что кричать через пути было нельзя, а обежать состав кругом — далеко. Он бегал понизу, вдоль колёс, пригнувшись, и всякий раз добежал.

На пятом разе по нему стукнуло.

Не по нему — по вагону над ним, в обшивку, и щепка полетела ему на спину. Он упал, откатился под раму и полежал там секунду, и я эту секунду видел от начала до конца и ничего не мог сделать. Потом он выполз с другой стороны и добежал.

— Тимофей говорит, тридцать одна прошла! — выпалил он. — Осталось девять! И спрашивает, ждать ему или гнать!

— Гнать.

— А ещё говорит: доска до последней нужна.

— Та, что под колесо?

— Та.

— Беги. И понизу не бегай больше, беги за третьим составом кругом.

— Так это дольше!

— Беги кругом.

Он побежал кругом.

Матвей стоял тут же, у колеса, и слушал.

— Мне надо девять, — сказал он.

Гаврила повернул голову.

— У меня семь.

— Мне надо девять.

— А у меня семь. — Гаврила сказал это без всякого раздражения, как говорят о погоде. — Я не торгуюсь, мастер. Я тебе цифру говорю. Семь.

Матвей помолчал.

— Тогда состав пойдёт на две минуты раньше, чем я хотел бы. — Он потёр щёку. — Это значит, он возьмёт с места, не выбрав слабину, рывком. На рывке сцепка может лопнуть. Тогда я потеряю не две минуты, а весь состав.

— А если не рывком?

— Тогда две последние минуты я стою при стрелке без тебя.

Они посмотрели друг на друга. Ни один не уступил, и ни один не повысил голоса.

— Что там за две минуты может быть? — спросил я.

— Всё, — сказал Гаврила.

— Или ничего, — сказал Матвей.

Я стоял между ними и считал.

Семь минут огня. Девять минут на стрелке. Разница — две. За две минуты человек, стоящий на стрелке в горловине, виден с северного выхода как на ладони.

— Матвей Елисеевич. Кто будет стоять при стрелке?

— Я.

— Я могу поставить возчика.

— Можешь. — Он поправил полушубок. — Только он не увидит, когда клин поползёт. Не со зла. Он не знает, на каком стуке смотреть.

— А ты знаешь?

— Я считаю тележки.

Тут прибежал Мишка.

— Степан Тихонович! Там фельдшер и комендант!

Комендант был маленький, в фуражке набок, и кричал уже, кажется, давно.

У шестого пути стоял отдельный вагон — старый, с покрашенными окнами, с наспех приколоченной поперёк двери доской. Возле него на земле сидели и лежали люди. Их было десятка полтора. Ни у кого не было ни повязок, ни лубков.

— Прицепить! — кричал комендант. — Немедленно прицепить! У меня приказ никого не оставлять!

Игнат не отошёл от сцепки.

— Не прицеплю.

— Это ваш состав?

— Это не мой состав. Это мои раненые.

— Там люди!

— И там люди, и тут люди. — Игнат стоял у самой сцепки, боком, и рукой держался за буфер. — Вы их сейчас смешаете, и через неделю-другую горячка может пойти и по тем, и по этим.

Комендант обернулся ко мне.

— Вы старший? Прикажете ему!

Я поглядел на вагон с покрашенными окнами. Потом на состав, где в шести теплушках лежали те, кого мы грузили вторые сутки.

— Не прикажу.

— Вы понимаете, что вы их бросаете?

— Понимаю.

— Их возьмут красные!

— Возьмут, — сказал Игнат. — Здесь их видно: отдельный вагон, доска на двери. А смешаю с моими — через неделю-другую горячка может пойти по всем шести теплушкам. Им оставим воду, двух санитаров и бумагу. Большого я сейчас не могу.

Комендант открыл рот и закрыл.

— Оставьте при них двоих, если согласятся, — сказал Игнат ему уже тише. — Кипяток, воду, что есть из белья. И бумагу напишите, кто оставлен и сколько. Это всё, что вы можете сделать.

Комендант постоял, потом пошёл искать бумагу и нашёл её не скоро.

Пока он искал, из-за водокачки ударили по товарным вагонам. Мишка показался между колёс, поднял четыре пальца — четыре подводы ещё не прошли — и исчез к проезду.

Писал он на подножке, положив лист на колено, и рука у него ходила. Игнат стоял рядом и диктовал — коротко, по одному пункту, дожидаясь, пока тот допишет:

— Оставлено четырнадцать человек. При них санитары двое, поимённо. Оставлено: кипяtilьник один, бельё, что есть, хлеб на два дня. Вагон номер такой-то, дверь не заколачивать.

— Отчего не заколачивать?

— Оттого, что им выходить.

Комендант дописал и хотел сунуть лист в карман.

— Два, — сказал Игнат. — Один вам, один прибейте к двери снаружи.

— Кому прибить?

— Тем, кто придёт.

Комендант посмотрел на него, потом на вагон, потом молча пошёл за гвоздём.

Двое санитаров сидели на подножке того вагона и глядели на нас, и глядели ровно так, как глядят люди, которым уже всё сказали и от которых больше ничего не требуется. Они не просились и не спорили. Один из них курил, а второй держал в руках жестяной чайник и время от времени менял руку, потому что чайник был горячий.

Я посмотрел на Игната. Он всё ещё держался рукой за буфер и, кажется, не заметил, что держится.

* * *

Машинист выслушал Матвея, не слезая с паровоза, и ответил ему сверху вниз одной фразой:

— Порвёт.

— Не порвёт, если возьмёшь на второй зубец.

— Порвёт на втором.

— Я тебе говорю, вагон с надорванной задней стяжкой теперь в хвосте. В хвосте, понял? Я его вчера перецепил.

Машинист перегнулся через поручень, поглядел вдоль своего состава, посчитал.

— В хвосте, — согласился он.

— Ну.

— Ну, тогда возьму на втором.

Матвей отошёл от паровоза и больше туда не смотрел. Он потом сказал мне, что уговаривать машиниста дольше двух фраз бесполезно: тот всё равно сделает по-своему, а по-своему у него выходит правильно чаще, чем у всех остальных.

Состав тронулся в восемь часов без десяти минут.

Матвей стоял при стрелке.

Он присел у переводного механизма, сбоку от рельса, и забил плоский клин под тягу. После каждой тележки Матвей смотрел, не сдвинулся ли клин, и шевелил губами. Первый вагон. Второй.

Гаврила ударил, когда прошёл третий.

Он бил короткими, по три, с северного края платформы, и после каждой очереди менял место — отползал на два шага вдоль рамы и бил уже оттуда. Вдоль путей, у водокачки, залегли. Потом перебежали. Потом залегли опять.

Четвёртый вагон. Пятый.

— Диск! — крикнул Гаврила.

Это значило, что первый кончился и он ставит мятый. Мятый пошёл. Он выпустил два коротких, и на третьем захлебнулось. Гаврила выругался, отвёл рукоять назад, поправил диск в посадке — пошло опять.

Шестой вагон.

От водокачки побежали разом, не таясь, человек восемь, наискось к горловине. Гаврила достал их на середине. Двое легли, остальные откатились за цистерну, и оттуда сразу ударило в ответ, и по брезенту над Гаврилой пошли дырки.

Седьмой вагон прошёл стрелку без минуты восемь.

Матвей выпрямился и пошёл с насыпи — не побежал, а пошёл, потому что у него, видно, за эти девять минут отнялись ноги. Я поймал его за локоть и стащил вниз, под откос, и мы легли там оба, и над нами дважды прошло.

— Восемь минут сорок, — сказал он мне в ухо. — Я запас взял.

— Гаврила!

— Тут! — донеслось сверху.

— Уходим!

— Погоди. У меня в мятом ещё есть.

Он выпустил остаток одной длинной — впервые за две недели длинной, — и по этому я понял, что он уходит.

Мы отошли за насыпь, к тому месту, где Тимофей провёл последнюю подводу, и там я впервые с рассвета перевёл дух.

Ветвь уходила вдоль воды и заворачивала за мыс. Состава уже не было видно, только над деревьями стоял дым, и дым уходил в ту сторону, куда ушёл состав.

— Матвей Елисеевич. Что мы можем сделать с этой ветвью?

Он поглядел на стрелку, оставшуюся в двухстах шагах, за открытым местом.

— Переводную тягу снять. Остряки сперва вернуть на главный и заклинить у рамного рельса. Тогда на ветвь не переведут, покуда тягу не поставят или не приладят свою. Снять — минут десять и в открытую. Наладить им — с полчаса, если мастер найдётся.

— За полчаса нам что?

— Ничего тебе за полчаса. — Он не отвёл глаз. — Я тебе сразу говорю, чтоб ты после не считал, что я тебя обманул. Это не заслон и не подрыв. Главный путь я оставляю им целым.

— Тогда зачем снимать?

— Затем, что по этой ветви ушёл твой состав. И если они за ним вздумают послать дрезину, то дрезину они отсюда не пустят.

Я подумал.

— Иди. Гаврила, прикрой. Тимофей, коней сюда, все.

Тягу снимали одиннадцать минут, и все одиннадцать я пролежал под откосом и смотрел, как это делается, потому что помочь там было нечем: работа требовала двух рук, знавших железо, а мои тут только мешали бы.

Матвей работал на открытом месте, стоя на коленях между рельсами. Сперва вернул остряки на главный путь и заклинил прижатый остряк у рамного рельса. Потом распрямил чеки, выбил пальцы переводной тяги и снял её. Он не пригибался и не оглядывался. Один раз сел на пятки, отдохнул секунды три и снова наклонился.

Гаврила прикрывал одиночными из винтовки, потому что люис был пуст совсем и лежал рядом на щебне, как лежит вещь, которую жалко бросить.

Он лёг за рельсовой кучей и стрелял редко, обозначаясь, и от цистерны ему отвечали — с двухсот шагов, лениво и вразнобой, как отвечают тем, кого не собираются доставать.

— Плохо, — сказал он мне, не оборачиваясь, когда я подполз ближе.

— Что плохо?

— Что редко отвечают. Значит, ждут своих. Своих подождут — тогда пойдут разом.

Матвей встал на одиннадцатой минуте, поднял из-под ног длинную плоскую тягу с проушинами, взял её под мышку, как берут доску, и пошёл к нам — тем же шагом, каким шёл со стрелки, ни быстрее, ни медленнее.

Он спустился под откос, дошёл до воды и бросил железо с берега. Оно ушло сразу, без круга, потому что было тяжёлое и вошло торцом.

Гаврила подошёл ко мне, когда мы уже вели коней в поводу, и держал льюис на весу, обеими руками, как держат больного ребёнка.

— Куда его?

— На выюк.

— Он мёртвый, командир. Теперь просто тяжёлое железо.

— Знаю.

— Я к тому, что конь его повезёт, а стрелять он не станет, покуда диски не найдутся.

— А найдутся?

— На войне всё находится, — сказал Гаврила. — Только не в тот день, когда надо.

Он приторочил его сам и приторочил хорошо, в два ремня, чтоб не било по боку, и потом ещё раз проверил ремни рукой, хотя проверять там было нечего.

Мы сели на коней.

— Степан Тихонович, — сказал Тимофей. — Тут хорошая позиция.

Он показал подбородком назад, на насыпь. Насыпь и правда была хороша: высокая, с ровным гребнем, с готовым укрытием из шпал, и с неё держалась вся горловина.

— Хороша, — согласился я.

— За ней дорога на юг. Если они сейчас пойдут за подводами — они пойдут этой дорогой, другой нет. С насыпи мы их сюда не пустим.

— Сколько нас на насыпи?

— Пятеро. И возчиков десяток, кто с винтовками.

— А у Гаврилы?

Тимофей помолчал.

— Пусто.

— Пусто. И патронов к винтовкам у нас на четверть часа, если бить с толком. Значит, мы их не пустим на четверть часа, а после того на этой хорошей насыпи останутся пятеро моих и десять чужих возчиков, и обратно с неё уже никто не уйдёт, потому что за спиной у нас открытое поле в полторы версты.

— Я это знаю.

— Знаешь. — Я тронул коня. — Тогда чего спрашиваешь?

— Затем спрашиваю, что подводы уйдут на четыре версты вперёд, — сказал Тимофей ровно. — И это будут не мои четыре версты, а их.

— Четыре версты они и так уйдут, — сказал я. — Только с нами, а не без нас. Мы им нужнее на дороге, чем на насыпи. На дороге я их разведу, а с насыпи я уже никого не разведу никогда.

Тимофей провёл левой рукой по усам.

— Ясно, — сказал он.

И повернул коня.

Мы уходили от станции по низине, вдоль воды, шагом, растянувшись цепочкой. Позади, на путях, кто-то дал длинную очередь в пустое место. Потом ударил паровозный гудок, чужой, короткий, дважды.

Станция Лиски осталась позади — за наступавшими красными.

Мы нагнали хвост колонны на третьей версте. Игнат шёл пешком, ведя лошадь в поводу, и рядом с ним, отдельно от прочих, катилась та самая подвода. Прежде на ней ехали трое мужчин, больной ребёнок и его мать. Теперь больных стало шестеро, а матерей — две.

— Шестеро? — спросил я.

— Шестеро.

— Кто новые?

— Возчик с брошенной и мальчик лет девяти. — Игнат подтянул лямку сумки. — Мать при нём. Она здоровая, я её не отсаживал, а она сама села.

— Ты ей сказал, что нельзя?

— Сказал.

— И что она?

— Ничего. Села и поехала. — Он посмотрел вперёд, на дорогу. — Я, Степан Тихонович, могу не пустить в вагон. Мать от сына отогнать не могу, и не возьмусь.

Мишка подал мне лист, не дожидаясь вопроса.

— Сорок подвод. Двадцать одна у смотрителя, девять с фуражом, десять прочих. Было сорок одна; одна осталась у путей, у неё обод разошёлся. Пеших при колонне я сегодня не считал, простите, некогда было.

— А люди?

— В лазаретном списке сто два. Один из них вон там, на отдельной. При нём ещё пятеро больных сверх списка и две матери. — Он мотнул головой на подводу и сразу отвернулся.

Я сложил его лист и убрал за пазуху.

Матвей ехал впереди, у головы, и вертел головой вправо и влево — не назад, а вперёд, будто уже искал что-то, чего мы пока не видели.

— Куда теперь, мастер? — крикнул ему Мишка.

— К Касторной, — отозвался Матвей. — Пока вдоль рельса. Дальше дорога выведет.

В полдень рельс ушёл вправо, а дорога влево, и мы пошли дорогой.

Глава 5. Сводная колонна

Двадцать седьмого вечером в селе, где мы стали на ночь, у меня на руках оказалось четыре старших и ни одного начальника.

Первым был лазаретный смотритель — тот самый, с сундуком, который вышел с нами из Воронежа. За ним числились двадцать одна подвода, сто два человека, которые не могли идти сами, и бумага от лазаретного начальства, где ему предписывалось следовать в тыл и сдать вверенное. Кому сдать, в бумаге сказано не было.

Вторым был интендантский чиновник Пахомов. Он вёл девять подвод с овсом и сеном, имел накладную, требование и предписание, и все три бумаги были в порядке, и все три ссылались на отделение, которое осталось в Лисках.

Третьим был поручик с командой выздоравливающих — двадцать восемь человек, из них девятнадцать при винтовках. Поручику было приказано доставить команду в распоряжение своей части. Где теперь часть, он не знал.

Четвёртым числился я, и за мной шло четверо своих, фельдшер, железнодорожный мастер и ещё множество людей, которые прибились по дороге и за которых не отвечал вообще никто.

Со вчерашнего утра, от самых Лисок, я ездил вдоль этого потока туда и обратно и глядел, как он сам себя ест.

Подводы шли вплотную, колесо в колесо, и оттого всякая остановка передней останавливала всю версту сразу; на подъёмах задние наезжали на передних, а на спусках отставали и потом нагоняли рысью, сбивая коней; у каждого колодца собиралась толпа, поили без очереди, толкались, и вода в колодце кончалась через час, а следующий был через двенадцать вёрст. Никто из этих людей не был ни дурак, ни злодей. Каждый делал ровно то, что на его месте сделал бы всякий: держался ближе к переднему, потому что одному страшно, и пил, когда дорвался, потому что неизвестно, когда дорвёшься в другой раз.

Беда была не в людях, а в том, что над этой верстой не стоял никто, кому она была бы целиком видна.

Мы сидели в чужой горнице, при одной свече, и каждый выложил на стол своё.

Пахомов накрыл свои бумаги ладонью.

— Стало быть, я вам не подчинён.

— Не подчинены.

— И ему не подчинён. — Он показал бородой на поручика. — И он мне не подчинён. И смотритель никому.

— Так.

— Тогда о чём разговор?

Хороший был вопрос. Я задавал его себе с той минуты, как мы отошли от Лисок и я увидел, что за нами идёт не колонна, а полторы версты отдельно взятых людей, каждый из которых сам решает, когда ему поить коня.

— Разговор о завтрашнем дне, — сказал я. — Дорога отсюда одна. Пойдём мы по ней всё равно вместе, потому что другой нет. Вопрос только, вместе или вперемешку.

— А разница?

— Разница в том, что вперемешку мы вчера на переправе простояли четыре часа.

Смотритель заёрзал. Он на той переправе стоял в самой середине и хорошо это помнил.

— Ну хорошо, — сказал Пахомов. — Допустим. И кто же нас построит? Вы?

— Я.

— По какому праву?

Вот тут надо было отвечать точно.

Я мог сказать про поручение Шумилина. Оно лежало у меня за пазухой, только в нём стояло, что я лично доношу полковнику, где узко. Про интендантского чиновника там не было ни слова. Пахомов прочёл бы бумагу за полминуты, вернул бы её мне с удовольствием — и после этого меня перестал бы слушать даже смотритель.

— Ни по какому, — сказал я. — Права у меня нет.

Поручик поднял голову.

— Тогда я не понимаю.

— Я и не буду вас строить. Я вам скажу, что делаю я, а вы решите, надо оно вам или нет. — Я подвинул свечу к середине стола. — Завтра до свету моя разведка уходит вперёд и смотрит дорогу до Хвощеватого. Возвращается к восьми. Если дорога чистая, мои трогаются в девять и идут по ней вот так: сперва разведка, потом подводы с ранеными, потом обоз, потом команда с винтовками сзади. Интервал между группами — двести шагов. На привалах поим по очереди, а не все разом, и очередь я назначу.

— А если мы не пойдём в этом вашем порядке? — спросил Пахомов.

— Тогда пойдёте как шли. Дорога общая.

Помолчали.

— И вода на привале? — спросил смотритель.

— Вода на привале по очереди. Кто вне очереди — тому в другой раз очередь последняя.

— А кто это будет считать?

— У меня мальчишка считает.

Поручик усмехнулся было, но посмотрел на меня и не стал.

— Мне это подходит, — сказал он вдруг. — У меня девятнадцать винтовок и двадцать восемь человек, и я вторые сутки не знаю, куда мне их деть, чтоб они не разбежались. Пусть сзади. Сзади — это работа.

Смотритель поглядел на поручика, потом на Пахомова, потом на меня.

— Мне тоже подходит, — сказал он. — Мне только чтоб на переправах не последними.

Пахомов сложил свои три бумаги в стопку, выровнял их о стол и убрал за пазуху.

— А мне не подходит.

— Отчего?

— Оттого, что у меня овёс. — Он глядел на меня без всякой вражды, как смотрит человек, который знает свою цену. — Овса девять подвод. Через три дня овёс станет самым дорогим грузом на этой дороге, и я не намерен раздавать его по вашей очереди. У меня накладная. Я его доведу и сдам, а сдам я его тому, кто мне предъявит требование.

— Кому предъявить-то, Пахомов? Отделение ваше в Лисках.

— Значит, найду другое.

Он встал, вежливо попрощался и вышел.

Тимофей проводил его взглядом.

— Он с овсом уйдёт вперёд, — сказал он. — Ночью снимется и уйдёт.

— Не уйдёт.

— Отчего?

— Оттого, что впереди дорога, которую он не смотрел.

Тимофей подумал.

— Степан Тихонович. Тебе бумага нужна.

— Нужна.

— Без бумаги тебя половина слушать не станет. Не завтра, так через неделю.

— Бумага будет, когда я до штаба доеду. А идти надо завтра.

— Вот я и говорю. — Он провёл левой по усам. — Ты покуда не командуешь. Ты покуда торгуешь.

— Торгую.

— Долго так не проторгуешь.

— Знаю, — сказал я. — Ты мне лучше скажи, во сколько групп ты их разведёшь и кого над каждой поставишь.

Он вздохнул и стал разводить.

* * *

Архип с двадцать восьмого уходил вперёд затемно и возвращался к восьми.

Он брал с собой одного возчика поповоротливее и обходил дорогу вёрст на двенадцать. Приезжал, слезал, пил воду и докладывал стоя, коротко, всегда в одном порядке: где мокро, где брод, где жильё, где чужие следы.

— Хвощеватое пустое. Кони были, ушли на юг, следу трети сутки. Гать на речке держит, я проехал сам. Колодец в селе один, воды мало.

— Сколько мало?

— На полсотни вёдер. Больше не выберешь, ил пойдёт.

— Значит, поим не там.

— Не там, — соглашался он и шёл спать.

Полсотни вёдер на весь этот люд и сорок с лишним коней — это не вода. Оттого мы в тот день стали не в селе, где были крыши, а в поле у ручья, и я эти крыши слышал потом весь вечер: люди мёрзли и поминали их вслух.

Мел взяли у зрителя.

У него оставался кусок с воронежского двора, тот самый, которым фельдшерский ученик метил рукава, и Мишка выпросил его весь.

Он пошёл вдоль подвод и написал на каждом левом борту число. Первая, вторая, третья. Писал крупно, с нажимом, слюнявя мел, и на сороковой у него мел кончился, и он стал царапать гвоздём.

— Зачем? — спросил возчик двадцать шестой.

— Затем, чтоб я тебя звал не «эй ты с рыжей», а двадцать шестой.

— Меня Пантелеем звать.

— Пантелей — двадцать шестая, — согласился Мишка и записал в лист.

К вечеру двадцать восьмого у него на листе стояли все сорок подвод, при каждой имя возчика, число лежачих и кличка упряжного коня. Четырёх сменных он вынес внизу отдельной строкой. Клички записывал сам, без спроса.

На тридцать четвёртой вышла заминка.

— Как коня звать?

— Никак.

— Как это никак?

— А так. Чужой конь. Мне его в Лисках дали.

Мишка постоял, подумал.

— Тогда я запишу «Серый».

— Он не серый.

— А какой?

— Гнедой.

— Ладно. Гнедой.

Возчик посмотрел на коня. Потом на Мишку.

— Пиши Гнедой, — сказал он. — Пусть будет.

Через два дня он звал его так же.

Интервалы Тимофей поставил на второй день.

Это оказалось труднее всего. Люди на дороге сбиваются в кучу сами, как вода в низину: страшно ехать одному, страшно отстать, и всякий подтягивается к переднему вплотную. Тимофей ехал вдоль колонны и разгонял их по одному, и они через версту сходились снова.

На третий раз он слез, отмерил двести шагов ногами и воткнул в обочину палку.

— Вот. Пока не увидишь эту палку у себя за спиной — не трогайся.

— А как я её увижу, если она вон где?

— Не увидишь — стой.

Один не встал.

Здоровый мужик с восемнадцатой, с бородой в две ладони, тронулся сразу за передним и на палку не поглядел.

Тимофей заступил ему дорогу конём.

— Стой.

— Чего стоять? Дорога пустая.

— Стой, говорю.

— Пусти.

Тимофей не пустил. Мужик хлестнул своего, конь дёрнул и упёрся в грудь тимофеевскому. Тимофей левой перехватил его коня за оголовье и держал.

Стояли молча с полминуты.

— Ты однорукий, — сказал мужик.

— Однорукий.

— Так я тебя объеду.

— Объедешь. — Тимофей не отпустил уздечку. — Только я тебя завтра поставлю последним. И послезавтра. И на воду пойдёшь после всех.

— Кто ж меня поставит?

— Я поставлю. У меня список.

Мужик подумал. Потом сплюнул и осадил назад.

К вечеру он держал интервал лучше всех, потому что стоял на своём месте и следил, чтоб задний не наезжал.

Тимофей поставил семь палок за день и научил четверых возчиков ставить их самим. К тридцатому колонна шла с интервалами. На переправе через безымянную речушку с гатью, где без порядка простояли бы полдня, все сорок подвод прошли за час сорок минут.

С двадцать восьмого возчики сами стали признавать за Игнатом право отказать — без моего приказа.

К нему подошли сами — сперва один возчик, потом второй. Возчикам надоело возить в общей подводе тех, кто трясётся и горит, и они спросили, кто это может запретить. Игнат ответил, что он.

К тридцатому его слово испытали при всех.

Женщина с двумя детьми просилась на четырнадцатую. Игнат посмотрел на старшего мальчика и не пустил.

— Он здоровый!

— Он вчера был здоровый.

— Так и нынче!

— Нынче он у вас на руках, а вчера шёл сам.

Она заплакала. Кругом собрались.

Я подошёл. Женщина уже держалась за борт; вокруг ждали только моего кивка.

— Как фельдшер велел.

Я пошёл дальше.

Игнат велел переложить узлы с одной из прочих подвод на соседние. Старшего мальчика уложил туда отдельно от лазаретных и от уже горячих; мать с младшим ребёнком посадил рядом и отдал ей своё одеяло. Смотритель стоял тут же и не возразил.

На следующем привале возчики сперва спросили Игната, можно ли посадить старика, и только потом обернулись ко мне.

— Хочу вам сказать, — начал он вечером тридцатого, подойдя ко мне у костра. — Меня позавчера послушались двое. Нынче — семеро. Завтра, если так пойдёт, послушаются все.

— И что?

— И то, что я хочу знать заранее, где вы меня остановите.

— Зачем мне вас останавливать?

— Затем, что я скажу «нет» тогда, когда вам будет нужно «да». — Он сел на корточки, взял прутик и пошевелил угли. — Так бывает всегда. Не со зла. Просто у вас счёт по вёрстам, а у меня по койкам, и однажды эти два счёта разойдутся.

— Разойдутся — скажете мне.

— Скажу. А если вы прикажете обратное?

Я подумал.

— На подводах и у больных — ваше слово последнее. Кого пускать, кого отсадить, кому воду отдельно — вы. Я не отменю, даже если это будет мне поперёк.

— А где ваше?

— Куда ехать, когда трогаться, кто идёт впереди. Тут вы мне не указ, даже если ваши койки против.

Игнат поглядел на меня через костёр.

— Это сейчас легко говорится.

— Сейчас и говорим. Потом будет некогда.

Он бросил прутик в огонь и подтянул лямку сумки.

— Годится.

С овсом всё это время выходило иначе.

Пахомов не ушёл в первую ночь — Тимофей ошибся, а я угадал, и радости мне это не принесло. Он шёл со всеми, ставил свои девять подвод в обоз, соблюдал интервал и очередь на воду и держался безупречно вежливо. И овёс никому не выдал ни разу.

К утру тридцатого на сорок подвод у нас числились сорок четыре коня: сорок в упряжи и четыре сменных.

Днём пал старый упряжной. На его место поставили одного сменного. К вечеру захромали ещё три, и Тимофей выпряг их, поставив вместо них трёх оставшихся сменных. После этого годных под замену не осталось вовсе.

— Пахомов.

— Слушаю вас.

— Дай овса тем, кто слабеет.

— Не дам.

— Кони станут — станет и твой овёс.

— Мой овёс никуда не денется, — сказал Пахомов. — Он в мешках.

* * *

Налетели тридцать первого, в шестом часу утра, на хвост.

Их было немного — я после насчитал следов на два десятка коней, — и шли они не воевать, а брать: срезать хвост, взять подводы и уйти. На растянутую, сонную, беспорядочную колонну этого хватило бы с избытком.

Гаврила лежал в аррьергарде с винтовкой вместо пулемёта.

Льюис висел у него за спиной пустой, а в руках была винтовка. Ремень пулемёта оттягивал плечо зря.

Он выстрелил первым — не по всадникам: три сигнальных выстрела с промежутком, как было условлено.

Три выстрела значили: хвост. На третий Архип увёл за левый вал четырёх возчиков, которых заранее выбрал Тимофей.

Поручик развернул девятнадцать винтовок поперёк дороги — не в цепь, а за подводами: там выздоравливающие не разбегутся. Тимофей повёл голову колонны дальше. Передние телеги не встали, и хвосту осталось куда подтягиваться. Игнат свернул лазаретные подводы влево, за придорожный вал.

А Мишка побежал вдоль и стал кричать номера.

— Двадцать вторая, подтянись! Двадцать третья, не стой! Двадцать шестая, Пантелей, гони!

Двадцать вторая дёрнулась вперёд. Пантелей на двадцать шестой ударил вожжами прежде, чем Мишка успел крикнуть второй раз.

Бой продолжался минут двенадцать.

Три прочие подводы не успели подтянуться за последнюю палку. Налётчики добрались до них прежде арьергарда: у двух убили возчиков, третий успел скатиться в канаву. Подводы развернули назад.

Потом наскочили на хвост, нарвались на залп с близкой дистанции от поручиковых выздоравливающих, потеряли двоих и отвернули. Попробовали слева, вдоль вала, — и там их встретил Архип с четырьмя возчиками. Архип положил переднего с пятидесяти шагов, а остальные не полезли: за валом не видно, сколько там.

Потом обошли вправо и прошли вдоль колонны шагов на триста, обстреливая с ходу.

Я был в это время у середины и видел всё сбоку. Они шли наметом, вдоль обочины, и стреляли не целясь — просто в сторону подвод, чтоб гнать. Возчики пригибались и гнали. Кони шарахались от выстрелов, но с дороги не сходили, потому что слева был вал, а справа канавка.

Срезали двух коней у прочих подвод. Первый упал сразу и потащил подводу боком, второму перебило ногу. Матвей с двумя возчиками перерезал построшки и стянул обе телеги за вал; второго коня после боя пришлось добить.

Ранили возчика тридцать первой — в спину, навывлет.

Налётчики ушли с тремя подводами, взятыми за хвостом.

— За ними? — крикнул Мишка.

— Нет. Колонне идти.

Тимофей ничего не сказал. Только поглядел назад, туда, где стояла его последняя палка.

Никто никого не разбил. Мы не гнались — гнаться было не на чем и не с чем. Убитых возчиков положили поверх груза на соседние подводы; груз с двух обезлошадевших телег раскидали по остальным. Порожние телеги привязали следом за упряжными.

Поручик нашёл меня, когда всё кончилось. Он был бледный и очень собой доволен, и старался этого не показывать, и оттого выходило заметнее.

— Мои двоих положили, — сказал он. — А ведь сами ещё из выздоравливающих.

— Ваши стреляли хорошо.

— Они не стреляли хорошо. Они стреляли залпом, потому что я скомандовал залп, и три четверти промазали. — Он вытер лоб. — Но девятнадцать винтовок грохнули, будто сотня. Те не стали разбираться.

— Это и было нужно.

— Я, признаться, думал, что они у меня побегут.

— Отчего не побежали?

Поручик подумал.

— Оттого, что бежать было некуда. Впереди подводы, сзади поле. Я их поставил за подводами, как вы сказали.

Гаврила подошёл, волоча винтовку за ремень. Одна щека была в дорожной пыли.

— Ну как? — спросил я.

— Никак. — Он сел прямо на землю. — Я его четыре дня на себе вожу, а он мне за всю дорогу ни разу не сгодился. Нынче было самое место: они вдоль обочины шли, кучей, шагов полтора. Одним диском бы всех положил.

— Не было диска.

— Не было, — согласился Гаврила. — Я к тому и говорю.

К семи часам колонна шла дальше.

К восьми Мишка подал мне лист.

— Тридцать семь подвод. Было сорок. Три увели. Люди: убито двое, оба возчики, ранено четверо, из них двое тяжело, их Игнат Фомич взял к себе.

— Кони?

Он замялся.

— Трёх увели с подводами. Двух потеряли в упряжи: один лёг сразу, второго пришлось добить. Ещё три хромают со вчерашнего, и Тимофей Иванович говорит, что двое из них до Касторной не дойдут.

Сорок четыре было до первого падежа. Минус один, минус три, минус два — осталось тридцать восемь. Трёх из них Тимофей не считал работниками.

Я сложил лист и отдал ему обратно.

Пахомов подошёл ко мне сам, около полудня, когда мы стояли на водопое.

— Одиннадцати коням овёс нужен, — сказал он. Не спросил, а сказал: уже сходил и посчитал.

— Нужен.

Он постоял, глядя на реку. Поили по очереди; её назначал Мишка, и теперь её соблюдали даже те, кто три дня на неё плевал.

— Я после налёта подумал, — сказал Пахомов. — Если б они зашли не с хвоста, а с середины, они бы взяли мои девять. И накладная моя мне бы очень пригодилась.

— Пригодилась бы.

— Выдам по ведомости. — Он вынул свою стопку бумаг, отделил одну и протянул мне. — Только распишитесь. Мне без росписи нельзя, я потом отвечу.

— За что распишусь?

— За получение фуража на нужды сводной колонны. — Он подумал и добавил: — Я так и написал: сводной. Другого слова не подобрал.

Я расписался. Подписи мои в тот день стоили ровно столько же, сколько накануне, — то есть нисколько, — но бумага у Пахомова была настоящая, с графами и печатным заголовком, и в графе «принял» теперь стояла моя фамилия.

Пахомов подул на неё, сложил вчетверо и убрал к остальным.

— Вы, я гляжу, довольны, — сказал он.

— Овсу рад.

— Не овсу. — Он застегнул шинель. — Вы, Беркутов, рады тому, что у вас первая бумага завелась. Я эти лица тринадцатый год вижу.

— И что это за лицо?

— Обыкновенное. У человека, который до сего дня всё делал на честном слове и вдруг понял, что честное слово кончается быстрее бумаги.

Выданный овёс раздали к вечеру.

Тимофей отобрал одиннадцать самых плохих коней, развесил торбы и давал овёс понемногу, после водопоя. Трёх хромых оставили без упряжи и повели в поводу: так они, может, и дойдут.

— На сколько этой выдачи хватит? — спросил я.

— Если кормить одиннадцать — дней на семь. Станет таких четырнадцать — дней на пять, не больше. — Тимофей поглядел на мешки. — Но у нас уже сейчас тридцать восемь коней, а годных тридцать пять.

— А потом?

— А потом, Степан Тихонович, подвод останется больше, чем годных коней, и мы станем их бросать. Не потому, что нечего везти, а потому, что везти нечем.

— Где берут коней?

— У кого они есть.

Я обошёл коновязь вечером и сосчитал всех сам, поимённо, по Мишкиному листу. Счёт сходился. У двух порожних подвод оглобли лежали на земле: тянуть их было некому.

Глава 6. Грязный ход

Первого ноября у развилки перед хутором Песчаным дорога перестала быть дорогой.

К полудню весь тракт стоял в жидкой глине по ступицу. Колёса не катились — они ползли, набирая на обод тяжёлые корки. Кони шли, приседая на задние. На подъёме у мельницы мы за час прошли триста шагов.

Тридцать восемь коней на тридцать семь подвод. Тридцать пять тянули гружёные, троих хромых вели в поводу, а две порожние телеги шли в прицепе.

Я сидел на обочине, счищая ножом глину с сапога, и считал, сколько мы протянем на этом ходу. Выходило, что до Касторной не дотянем: по сухому было два перехода, по такой дороге — вдвое больше, а фуража Тимофей насчитал примерно на три дня, и это уже с урезкой.

К вечеру дошли до Песчаного.

Хутор был цел и не разорён, и это само по себе говорило, что мы тут первые. Дворов десятка полтора, при них плетни, при плетнях собаки. Мужики вышли к околице и стали, и стояли молча — не враждебно, а так, как стоят люди, которые ждут, чтобы им поскорее сказали, чего у них заберут.

Коней у них было.

Я это увидел сразу — не самих коней, а следы во дворах, свежий навоз у сараев, вытертое место на верее, о которое трётся привязанная лошадь, — и всё это было видно с дороги всякому, кто хоть неделю прожил в станице; а я в станице прожил своё детство и половину жизни, если считать не мои годы, а годы того тела, в котором я эту дорогу ехал.

И они увидели, что я увидел, и один из мужиков, стоявших у околицы, тихо отступил назад и пошёл к крайнему двору не спеша, но и не оглядываясь.

Торговались мы у крайнего двора.

Хозяин, кряжистый старик в бабьем платке поверх шапки, вывел из сарая гнедого — рослого, широкогрудого, гладкого. Конь был хорош на глаз до того, что за спиной у меня кто-то присвистнул.

— Вот. Один есть. Больше нету.

— Сколько?

— Сговоримся.

И тут от коновязи, где стояли чужие лошади, отделился человек, которого я до того не приметил, подошёл, обошёл гнедого кругом и присел у передней ноги.

Он даже не поглядел старику в лицо.

— Веди шагом. Туда и обратно.

— А ты кто такой?

— Веди, говорю.

Старик повёл. Человек смотрел не на коня — на ноги. Потом велел провести рысью. Потом подошёл, поднял переднее копыто, подержал, опустил. Приложил ладонь к боку и постоял так, считая.

— Не бери, — сказал он мне.

— Отчего? Конь как конь.

— Конь как картинка. — Он выпрямился и вытер руку о полу. — Левую переднюю на рыси бережёт. Сейчас не хромает, а в этой грязи скоро захромает. И дыхание частое: пробежал немного — дышит, будто версту прошёл. В телегу он годится по сухому и по ровному. У тебя — грязь.

Старик засопел.

— Ты его лечил, что ли?

— Я его пять минут смотрел. — Человек обернулся ко мне. — Коробов, Савва Данилыч. Ремонтный унтер-офицер. Второй месяц никому не сдаю и ни от кого не принимаю, потому что комиссии моей больше нет.

— Беркутов.

— Слышал. — Он кивнул на колонну, тянущуюся по грязи вдоль плетней. — Твои?

— Мои.

— У тебя не трое. Семерых уже нельзя ставить как остальных.

— Троих знаю.

— Знаешь тех, что хромают. Ещё четверо в упряжи садятся, а ты их за усталых принимаешь. Этого ты не знаешь, потому что тебе некому сказать.

Он обошёл со мной всю колонну, от головы до хвоста, останавливаясь у каждой упряжки ровно настолько, чтобы поглядеть на ноги и послушать бок, и говорил про каждого коня по три слова, а иногда по одному, и всё сказанное можно было проверить тут же, наклонившись.

Из тридцати восьми он отдельно отметил семерых. Двоих хромых — под обмен или под нож сразу; третьего — вести без упряжи. Ещё четырёх — беречь и не ставить на два тяжёлых перегона кряду. Одного невзрачного и лохматого, которого Тимофей второй день собирался выпрячь как самого никудышного на вид, Савва велел оставить в упряжи и кормить лучше других.

— Этот дальше многих пойдёт, — сказал он. — У него нога сухая и копыто ровное, без трещин.

— А по виду?

— По виду он мужицкий и грязный. — Савва усмехнулся. — Ты, Беркутов, на карту глядишь и считаешь, что до Касторной сорок вёрст. Сорок вёрст обещает карта. А пройдёт их или не пройдёт вот эта нога. — Он показал носком сапога. — Карта твоя не хромает. Нога хромает.

— Пойдёшь со мной?

Он посмотрел на меня, потом опять на коней.

— Пойду, если кони мои.

— Как это твои?

— Так, что я говорю, кто идёт под седлом, кто в упряжи, кого ведут в поводу и кого нынче не запрягают вовсе. И спорить со мной будешь ты один, а не всякий возчик.

— А если я не соглашусь?

— Тогда я тебе через неделю не нужен буду, — сказал Савва. — Потому что через неделю у тебя коней не останется, и распорядиться будет нечем.

Я подумал.

— Кони твои. Но с двумя условиями.

— Говори.

— Первое: людей ты у меня не забираешь. Скажешь «этому не ехать верхом» — я решу, ехать ему или нет.

— Согласен. Мне люди не нужны, мне ноги нужны.

— Второе: если я скажу «идём», а ты скажешь «кони не пойдут», — ты мне это скажешь заранее, а не на дороге. Мне надо знать вечером, а не утром.

Савва подумал дольше, чем я.

— Вечером не всегда видно, — сказал он честно. — Конь за ночь садится. Вечером он стоит, а утром не встаёт.

— Тогда говори вечером то, что видишь вечером, и утром то, что видишь утром. Только не молчи.

— Это я могу.

Он подал руку. Ладонь была холодная, в загрубелых мозолях.

* * *

Посыльный от Тенишева нашёл нас второго, к полудню.

Он был молодой, в новой шинели, и приехал с двумя конными. Коней под ними я оглядел прежде, чем поглядел на него самого.

Он подал пакет. В пакете лежала выписка из приказа о заготовках и записка в две строки, написанная тем самым ровным почерком, который я уже видел на полях чужих бумаг.

Приказ был законный. По нему в прифронтовой полосе разрешалось изымать лошадей, фураж и подводы под квитанцию, а при отказе — понудительно.

Записка была короче: «Полагаю, вам будет полезно предъявить сие. Довожу, что о ходе заготовки надлежит донести. Т.»

— Он вас за язык не тянет, — сказал корнет. — Он вам одолжение делает.

— Вижу.

— Тогда приступим? У них тут кони по сараям.

— Приступим не так.

Корнет поднял брови.

— А как?

— Меняем. Что у нас лишнее — на овёс и коней. Что не выменяем — берём, но с меркой и под квитанцию Пахомова, и не больше третьей части со двора.

— Третьей части. — Он произнёс это медленно, будто пробовал на вкус. — Урядник, вы понимаете, что через нас тут пройдёт ещё три обоза? И четвёртым придут красные? Вы им оставите две трети, а через неделю у них не будет ничего вообще, и всё, чего вы добьётесь, — это что ваши люди пойдут пешком.

— Может, и так.

— Не может, а так и есть. Вы им не поможете. Вы только себе навредите и мне докладывать нечего.

— Докладывай, что взято по обмену.

— Он мне не поверит.

— Пусть проверит.

Меняли весь день.

Лишнего у нас нашлось много. Чужая упряжь с брошенных подвод. Два ящика инструмента, которые ехали от Лисок и которых никто не открывал. Казённое тряпье выздоравливающих, с которого поручик махнул рукой. И целая подвода рухляди, которую люди тащили от Воронежа и уже не помнили зачем.

Торг шёл коротко.

— Овса дашь?

— Не дам.

— За хомут.

— Хомут покажи.

Показывали. Щупали. Отходили. Возвращались.

У второго двора мужик вывел двух кобыл и потребовал за них муки. Муки у нас не было ни лишней, ни общей: та, что ехала на подводах, была лазаретная и имела своих хозяев.

— Тогда нечего глядеть, — сказал мужик и повёл кобыл обратно.

Савва его не остановил. Он посмотрел, как кобылы уходят, и сказал мне:

— Левая годится. Правая с зада приседает.

— И что?

— Ничего. У нас муки нет.

Матвей вынул из одной нашей подводы тяжёлый свёрток парусины, развязал. Внутри были напильники, зубила, скобы, два молотка и маленькие тиски.

— Мельница у них есть, — сказал он. — А там, где мельница, там и железо ломают. Муки мы им не дадим. А это дадим.

— Это тебе нужно.

— Мне нужно всё, — ответил Матвей. — А везти всё нельзя. На этой подводе ещё два свёртка. Один мой, другой чужой. Мой оставлю.

Мы догнали мужика у ворот. Он поглядел на инструмент, перебрал каждый напильник, зажал в тисках полоску железа и попробовал винт.

— За всё это — мерин.

— Нам кобылу.

— Кобылу не дам.

— Значит, не дашь.

Матвей стал сворачивать парусину. Мужик смотрел, как исчезают зубила, потом позвал жену. Она вышла, вытерла руки о передник и долго осматривала нас, пока не дошла до Саввы.

— Какую хочешь?

— Левую.

— Бери левую, — сказала она мужу. — Правая нам нужнее. А инструмент ты за год не достанешь.

Муж сказал ей не мешаться. Она не ушла. Она сама вывела левую кобылу, сняла с неё недоуздок и принесла верёвку.

— Кличка есть? — спросил Мишка.

— Есть.

— Какая?

— Не тебе звать.

— Мне писать.

Женщина погладила кобылу по морде и назвала кличку. Мишка записал её рядом с перечнем инструмента, а потом ещё и имя хозяина. Тот сперва отказывался, но жена назвала и его.

Кобылу Савва не взял сразу. Отвёл к околице, провёл рысью по твёрдому, вернул и ещё раз осмотрел ноги. Хозяйка шла за ними до ворот. Когда Савва кивнул, она перестала идти.

— Доведите, — сказала она. — Она к муке привыкла.

— Доведём, — ответил Савва.

Муки мы кобыле не обещали. Савва тоже. Он пообещал ей просто то, что мог проверить сам.

— Два пуда.

— Четыре.

— Три.

— Три.

К обеду по хутору ходили уже сами: наши шли по дворам, хуторские — вдоль подвод, и всякий высматривал своё. Мишка бегал между дворами и подводами и записывал. Когда у него сбился счёт, он дважды зачеркнул строку; Пахомов посадил его рядом и научил вести в два столбца.

Матвей ходил с нами и оценивал железо.

— Это лом, — говорил он про одно. — А это не лом. Это шкворень, и он им понадобится.

— Тем лучше, за него дадут больше.

— За него дадут больше, — соглашался Матвей и откладывал шкворень отдельно.

К вечеру мы выменяли пятерых коней, восемнадцать пудов овса и сена на воз. Двор, где хозяин заперся, был третий с краю.

Мы стучали. Не открыли. Стучали ещё.

— Ломать? — спросил Гаврила.

— Сарай открой. В избу не лезь.

Сарай был не заперт. В нём стояли трое: двое рабочих и один под седло.

— Одного, — сказал Савва. — Вот этого. Двух оставь: один им пахать, другой под седло.

— Он лучше.

— Лучше. Оставь.

Взяли одного. Пахомов писал квитанцию, стоя на приступке, и ворчал, что квитанция без печати отделения не квитанция, а просто бумага.

— Она и есть просто бумага, — сказал я.

— Вот я и говорю.

— Прибывай.

Корнет весь день ходил за нами и спрашивал.

Спрашивал он вежливо и не о том, о чём спрашивал. Сколько у вас людей. Из каких частей. Кто вам подчинён по бумаге. Кем поставлен фельдшер. Отчего мастер с линии идёт с конной командой. Давно ли у вас список подвод и кто его завёл.

На третьем вопросе Мишка сам протянул корнету свой лист и расправил загнутый угол.

Корнет прочёл его весь и вернул.

— Аккуратно, — сказал он. — Кто научил?

— Никто. Я сам.

— Сам. — Корнет посмотрел на меня. — Урядник, у вас сводная колонна, порядок, очередь на воду, интервалы и учёт по номерам. Это когда завелось?

— С неделю.

— С неделю. — Он подумал. — А приказ о сведении был?

— Не было.

— Стало быть, вы её свели раньше приказа.

— Я её не сводил. Она сама пошла.

— Она сама пошла и сама пронумеровалась, — сказал корнет и впервые за день улыбнулся.

Гаврила поймал его у коновязи и спросил про диски.

Он спрашивал про них всех, кто попадался нам с Лисок: интендантов, возчиков, встречаемых верховых, — и спрашивал одинаково, называя размер и показывая руками.

— К льюису? — Корнет пожал плечами. — В Касторной, может. Там склады. Только я бы на вашем месте не рассчитывал.

— Я и не рассчитываю, — сказал Гаврила. — Я спрашиваю.

Корнет уехал вечером. Перед отъездом он постоял у наших коней, посчитал их глазами и сказал:

— Шесть. Я бы взял двадцать.

— Взял бы.

— И у меня было бы двадцать, а у вас шесть.

— И на обратном пути ты бы через это село не поехал, — сказал Савва от коновязи, не оборачиваясь. — А нам через него, может, ещё назад идти.

Корнет посмотрел на него, потом на меня, потом сел и уехал.

* * *

Двух забракованных Савва увёл за хутор второго вечером.

Одного он обменял — отдал за полтора пуда овса, и хуторской, который брал, знал, что берёт, и всё равно взял, потому что и такая лошадь лучше никакой. Второго не взял никто.

— Веди, — сказал Савва Гавриле.

— Я?

— Ты. У тебя рука твёрдая.

Гаврила поглядел на меня. Я кивнул.

Они увели его в лощину за гумном, и оттуда через некоторое время стукнуло один раз. Гаврила вернулся, отдал винтовку Мишке подержать и пошёл мыть руки к бочке, хотя руки у него были чистые.

Мясо взяли хуторские, всё до последнего. Савва проследил, чтоб отдали не даром, и выторговал за него ещё пуд овса и старую, но целую упряжь.

— Ты его знал? — спросил его потом Мишка.

— Второй день.

— А жалко?

— Мне его ноги вчера было жалко. — Савва свернул упряжь и понёс к подводе. — А сегодня он уже был не конь, а корм, который сам ходит. Такого держать — обманывать себя и других.

Тяжёлый участок начался третьего, за восемь вёрст от Песчаного, и тянулся вёрст на пять.

Там дорога шла низом, между двумя пологими буграми, и вся вода с этих бугров стояла в ней. Глина была не грязь, а тесто: колесо входило и его надо было вынимать. Первая подвода села на четвёртой сотне шагов.

Мы вытаскивали её вчетвером и вытащили за двадцать минут. Сперва подложили под колесо всё, что нашлось поблизости; подкладка ушла в глину. Архип принёс жерди из придорожного плетня. Потом упирались плечом, считали «раз-два», и подвода поднималась на вершок и садилась обратно.

Вытащили на четвёртый раз, положив под оба задних колеса плетень целиком.

Ближайший двор остался позади, и хозяин плетня об этом не знал.

Тридцать шесть подвод по двадцать минут — это двенадцать часов. У нас их не было.

— Разгружать, — сказал Савва.

— Что разгружать?

— Всё, что можно нести. Пусть люди несут на себе.

— Лежачих не понесёшь.

— Лежачих не тронь. Всё прочее — с подвод долой.

Я кивнул Тимофею.

— Разгружать. Всё, кроме лежачих.

Полтора часа ушло на спор о каждом узле.

Мешки, узлы, сундуки, самовар, дверь от чего-то, которую баба везла от самого Воронежа.

Дверь я запомнил.

Она была створчатая, крашенная в зелёное, с медной ручкой, и лежала поперёк подводы, и на ней сверху ехали двое ребятишек. Баба держалась за неё обеими руками и не отпускала.

— Сойди, — сказал ей Тимофей. — Дверь долой, ребят на подводу.

— Не дам.

— Она тяжёлая.

— Не дам!

— Мать, — сказал Игнат, подходя. — Никто её не возьмёт. Мы её тут в кустах положим, я сам место запомню.

— Врёшь ты, — сказала баба спокойно, и это было хуже крика. — Всё вы врёте. Я её от дому везу. У меня дому нету, а дверь есть.

Тимофей поглядел на меня.

Я мог приказать. Приказ занял бы полминуты, дверь бы сняли, баба бы села в грязь и выла, и колонна бы простояла те же полчаса, только с воем.

Игнат ходил и уговаривал; Тимофей ходил и приказывал; толку было от обоих поровну. Кончилось тем, что Мишка пошёл вдоль подвод с листом и карандашом и стал записывать, что у кого сняли, — с обещанием вернуть по номеру.

К бабе он подошёл последней.

— Дверь чья?

— Моя.

— А тебя как?

— Меня или дверь?

— Тебя.

— Аграфена.

Он написал: «Аграфена, подвода двадцать девятая, дверь зелёная створчатая с ручкой». Прочёл ей вслух. Она послушала, подумала и слезла сама.

Мишка записал восемьдесят с чем-то предметов и шёл за последней подводой, держа лист над грязью. Половину записанного потом не вернули.

Облегчённые подводы пошли ровнее. Двадцать минут на подводу превратились в две-три, и застревали теперь только те, у кого колесо было хуже других.

Савва вёл сменных, и я половину этого перехода ехал за ним и смотрел ему в руки, потому что до того дня менять коней на ходу мне не приходилось ни разу.

Он останавливал табун поперёк, шагах в двадцати от дороги. Подходил к застрявшей упряжке. Клал руку на шею коренному и стоял так секунды три, ничего не делая.

— Этого долой.

— Он идёт ещё.

— Он идёт. Через полверсты не пойдёт совсем, и мы его тут бросим. Долой.

Выпрягали вместе с возчиком. Савва отводил усталого к табуну, приводил свежего и сам держал хомут, пока возчик затягивал упряжь.

У Саввы держались семь сменных: шесть новых и один прежний хромой, которого он в упряжь не ставил. Табун он гнал по нетронутому краю дороги, где было твёрже. На каждом трудном месте менял коня в самой тяжёлой упряжке: усталого выпрягал и пускал в табун, свежего ставил. Одну и ту же лошадь он не ставил дважды за час.

Тимофей ехал верхом.

Он ехал так весь поход, потому что с одной рукой в телеге ему было делать нечего, а верхом он мог хоть держать колонну. Савва догнал его на середине участка, поехал рядом и с полверсты молчал.

— Слазь, — сказал он потом.

Тимофей повернул голову.

— Что?

— Слазь с коня. Иди пешком или садись на подводу.

— С какой стати?

— С такой, что ты ему спину сбиваешь. — Савва показал подбородком. — Правой не держишься и всё тело валишь влево. Седло съехало, потник с правого бока смяло. Он у тебя третий день горбится. Погляди сам, как стоит.

Тимофей посмотрел на своего коня. Конь стоял, подобрав зад.

— Я и на подводе с одной рукой останусь.

— На подводе ты ему спину не собьёшь.

— Мне колонну водить.

— Води с подводы.

— С подводы не видно.

— Тогда пеши.

Они смотрели друг на друга, и оба были правы, и я стоял в десяти шагах и не лез, потому что влезть тут значило решить за одного из них, а мне нужны были оба.

— Савва Данилыч, — сказал наконец Тимофей. — У меня рука не работает с августа. Я к этому привык. Я не привык к тому, что мне за неё ещё и с коня слезать.

Савва помолчал.

— Я тебе не за руку говорю. Я тебе за коня говорю.

— Понимаю.

— Тогда так. — Савва нагнулся и провёл ладонью по бабке. — Ты его не губишь со зла, ты иначе сесть не можешь. Я тебе завтра переберу седло: переложу потник, подгоню подпругу и стремяна под твою посадку. Сядешь ровнее, седло не будет ползти.

— А сегодня?

— Сегодня иди пешком. Пять вёрст.

Тимофей слез.

Он шёл эти пять вёрст, ведя коня в поводу, и колонну водил всё равно — только медленнее, потому что бегать вдоль неё пешком по такой глине было нельзя. Никто ему ничего не сказал. Мишка один раз хотел спросить и не спросил.

Из низины мы вышли к вечеру третьего.

Подводы выползали наверх по одной, и наверху, на твёрдом, их встречали и сразу отводили в сторону, чтоб не запирали выход. Последнюю вытянули в темноте, впрягши в неё четверых: двух коней Саввиных и двух своих.

Возчик с неё свалился рядом с колесом и остался лежать. Лицо было в глине, руки дрожали. Игнат опустил перед ним на колени.

— Голова кружится?

— Нигде не болит.

— Я не про боль. Вставай попробуй.

Возчик попробовал и не встал. Игнат провёл ладонью по его спине, потом сказал двум ходячим снять с крайней подводы сундук и посадить возчика на его место.

— Куда сундук? — спросил один.

— На себя.

— Там же железо.

— Тогда на двоих.

Сундук взяли вдвоём и понесли к огню. Возчика подняли под мышки. Он сам не шёл, но ноги переставлял и не волочил их.

Тимофей присел на оглоблю последней подводы. Левой рукой он ещё мог держать вожжи, но не мог стянуть их, когда четверик разом подавался вперёд. Савва шёл у головы и брал под уздцы то одну пару, то другую.

— Левых придержи, — сказал Тимофей. — Левые вперёд забирают.

— Я вижу.

— Тогда держи.

— Ты вожжи не путай.

— Я их не путаю. Я одной рукой только медленнее тебя делаю.

— Сейчас мы вообще стоим.

Тимофей хотел ответить, но подвода качнулась, и он вместо ответа подал вожжи. Савва разом отпустил правую пару и сдержал левую. Подвода вышла на твёрдое вся сразу, почти рывком.

Савва поглядел на Тимофея.

— Не путаешь.

— Я тебе говорил.

Они оба были в глине до пояса, только у Тимофея глина на полушубке высохла полосами от работы возле колёс, а у Саввы была свежая, мокрая, от конских ног. Они ещё не знали друг друга и зато дальше пошли вместе — споря про то, кто из них кому мешает, но уже не расходясь.

Ночью с третьего на четвёртое мы стояли наверху, без крыш, и жгли то, что сняли с подвод.

Жгли не всё. Мишка ходил и сверялся со своим листом: что записано — то не жечь. Незаписанного оказалось много, и оно горело хорошо, потому что было сухое, чего про дрова в ту ночь сказать было нельзя.

Дверь Аграфены осталась в кустах у низины, и я до сих пор не знаю, вернулась ли за ней кто-нибудь.

Четвёртого утром колонна стояла на сухом.

Овса оставалось на один переход. Сена — тоже. В упряжи стояли тридцать пять коней, две порожние подводы по-прежнему шли в прицепе, а у Саввы оставались семь сменных; один прежний всё ещё хромал. Одного из выменянных Савва переставил под седло, а освободившегося повёл в табуне.

Тимофей ехал верхом. Савва ещё до свету переложил потник, подогнал подпругу и стрелы, а потом стоял рядом, пока Тимофей садился, — не помогая, а глядя.

Впереди, вёрстах в двадцати, за буграми, стояла над горизонтом полоса дыма.

— На Касторную похоже, — сказал Матвей. — Если это паровозный дым, там ещё топят.

— А если горит?

— Тогда узнаем ближе. Отсюда не разберёшь.

Глава 7. Клещи

Пятого ноября у меня было четыре дороги. К вечеру шестого осталась одна.

Мы стояли в брошенной экономии в двенадцати верстах от узла — каменный дом без окон, конюшня, длинный сарай и колодец с журавлём. Место было хорошее тем, что с чердака просматривалось на три стороны, и плохое всем остальным.

В дальнем конце сарая уцелел сеновал. Савва с возчиками перебрал сено, выбросил прелое и велел держать стоянку на годном, а походный овёс не трогать.

К пятому ноября колонна была уже не тем случайным потоком, что вышел из Лисок, и не той сводной колонной, какую я собирал под Хвощеватым, а чем-то третьим, чему я не знал названия.

На тридцати семи подводах лежали сто два человека. Вокруг шли выздоравливающие, приставшие, команда поручика, четверо своих, Игнат, Матвей, Пахомов и Савва. Тридцать пять коней тянули гружёные подводы, две порожние шли в прицепе; Савва вёл семь сменных, из которых один уже хромал.

Всё это ело, пило и двигалось, и всё это держалось на порядке, который мы строили десять дней и который я мог потерять за один плохой день.

Утром я разослал троих и велел вернуться к темноте.

Архип ушёл на север, Савва на восток, Матвей на запад — к рельсу. Каждому я сказал одно и то же: смотреть свою дорогу и говорить мне не то, что он думает про войну, а то, что он знает про своё.

Вернулись все трое, и вернулись раньше срока, и это само по себе было ответом.

Мы сели в конюшне, при фонаре, на перевёрнутых кормушках. Мишка растянул на полу лист, на котором сам, по моей указке, начертил четыре черты и подписал их углём.

— Север, — сказал я. — Архип.

— Север закрыт.

— Отчего?

— Прошли конные. — Он присел над листом и постучал по верхней черте ногтем. — Много. Я насчитал на дороге четыре ряда следов в ширину, а по обочине ещё. Шли ночью, потому что грязь взялась поверх, а по низу мягко. И назад никто не шёл.

— Совсем никто?

— Двое. Верхами, шагом, в ту же сторону, что и все, потом обратно. — Архип потянул табак с ногтя. — Это не отход, Степан Тихонович. Это они кого-то ведут вперёд и держат связь назад.

— Сколько их?

— Не скажу. Много — скажу. Считать по следу на такой дороге — врать.

Его «много» стоило больше чужой точной цифры.

Я велел Мишке зачеркнуть северную черту.

— Восток. Савва.

Савва не садился. Он стоял, привалясь плечом к столбу, и в руках у него была уздечка, которую он перебирал пальцами, как чётки.

— Восток открыт.

— Ну?

— Открыт для тебя верхом. Для колонны закрыт.

— Договаривай.

— Там дорога идёт низом восемь вёрст, потом гать, потом опять низом. Грунт — как в Песчаном, только хуже, потому что вода не сошла. — Он отложил уздечку. — Я прошёл четыре

версты и повернул. Мой конь на четвёртой стал брать ногу высоко. Это значит, он вязнет и уже бережётся. А он у меня лучший.

— Пройдём с разгрузкой. Мы уже так ходили.

— Ходили. — Савва поглядел на меня. — Тогда у тебя было тридцать пять упряжных и семь сменных, а твёрдое мы всё время видели впереди. Тут низине конца не видно. Ты войдешь туда со всеми и через сутки станешь посередине, и тогда я тебе скажу вслух то, о чём мы с тобой договаривались: кони не пойдут. Только говорить это будет уже поздно, потому что назад по такому не выходят.

— А если бросить половину подвод?

— Тогда пройдёшь. — Он помолчал. — Только всех лежачих на ту сторону не вывезешь. Я поглядел на вторую черту и велел Мишке зачеркнуть.

Он зачеркнул. Он делал это очень аккуратно, двумя линиями крест-накрест, и было видно, что ему это не нравится.

— Запад. Матвей Елисеич.

Матвей достал из-за пазухи молоточек, положил его на лист рядом с третьей чертой и только потом заговорил.

— Запад — это рельс. Рельс отсюда идёт на узел и мимо узла не идёт никак: тут одна колея и одна ветка, всё сходится там.

— Обойти нельзя?

— Подводам можно. Обозом можно. — Он ткнул молоточком мимо черты, в пустое место. — Только тогда ты двадцать вёрст идёшь полем, держась насыпи, а возле насыпи в такое время ходят разъезды, потому что насыпь — это единственное, что тут вообще стерегут.

— Стало быть, и запад закрыт.

— Запад не закрыт, — сказал Матвей. — Только идти по нему надо не мимо узла, а через узел.

В конюшне стало тихо.

— Через узел, — повторил я.

— Через узел. По путям, по станции, поперёк всего, что там стоит, и на южную ветку. Часа за три-четыре пройдем, если пути будут свободны.

— А если не будут?

— Тогда мы там останемся.

Мишка сидел на корточках над своим листом и глядел на две зачёркнутые черты и на две незачёркнутые.

— Так у нас же две остались, — сказал он.

— Две. Южную завтра проверим.

— А если и южная закроется?

— Тогда останется узел, — отозвался Савва от столба. — А если закроется и он, будем стоять в этой экономии и объяснять красным, что мы тут временно.

Гаврила фыркнул. Никто больше не засмеялся.

— Матвей Елисеич, — сказал Тимофей. — А ты сам-то через узел водил когда-нибудь обоз?

— Обоз — нет.

— А что водил?

— Составы водил. Обоз через станцию — это то же самое, только вместо сцепки у тебя вожжи, а вместо машиниста дурак. — Матвей подобрал молоточек. — Извини, не про тебя.

— Я не обиделся.

Про Касторную я знал только слово.

Оно лежало во мне отдельно, без числа и без подробности, как лежит название станции, мимо которой когда-то проезжал ночью: было такое место, там было что-то большое. Ни кто

кого, ни когда, ни чем кончилось. Тому, кто ждёт от такой памяти пользы, она пользы не даёт: она только не даёт спать. Одно она мне всё-таки сказала, и на одно я её употребил — на срок. Раз там было большое, значит, стоять там нельзя ни лишнего часа, и всё, что мы будем делать в узле, надо делать не хорошо, а быстро.

— Матвей Елисеич. Мне нужен срок и окно.

— Съезжу — скажу.

* * *

Шестого мы пошли на юг вчетвером — проверить последнее, во что я ещё верил.

По карте туда шёл просёлок, в обход и узла, и низины. Савва сказал про него, что грунт терпимый. Архип сказал, что следов по нему нет. Это был единственный ответ, который меня в тот день устроил, и потому я поехал сам.

Взял Архипа, Гаврилу и Мишку. Мишку взял, потому что он один умел ехать двенадцать вёрст и не заговорить.

Шли шагом, обочиной, с двумя остановками.

Дорога была пустая. Совсем пустая — ни телеги, ни пешего, ни собаки. По обочине стояла мокрая трава, некошенная, и в ней не было ни одного следа.

Это мне и не понравилось.

— Архип. Отчего пусто?

— Не знаю.

— Тут ведь жильё кругом.

— Жильё кругом, — согласился он. — А по дороге никто не ездит.

Мы прошли ещё две версты. Ни следа.

— Тут кто-то был, — сказал вдруг Гаврила.

— Где?

— Нигде. — Он повёл подбородком вокруг. — Оттого и говорю. Когда никого нет, всегда кто-нибудь да идёт. А тут третий час — никого.

На восьмой версте Архип поднял ладонь.

Впереди, под бугром, стоял хутор. Дворов пять. Ни дыма, ни собак.

— Пустой? — шепнул Мишка.

— Погоди.

Архип слез и пошёл. Его не было минут двадцать. Вернулся снизу, от плетня, и подошёл к моему стремени.

— Не пустой. Час назад был полный.

— Что видел?

— Колодец.

Мы спустились втроём, оставив Мишку с конями.

Колодец был с воротом и с бадьёй. Ворот блестел. Верёвка была мокрая по всей длине — не сырая, а мокрая, с неё капало на сруб. Земля вокруг сруба была разбита копытами до жижи, и жижа ещё не затянулась.

Гаврила опустил руку в корыто. Вода в нём стояла до краёв и была мутная.

— Наливали и наливали, — сказал он. — Пока через край не пошло.

Архип обошёл корыто и присел с той стороны.

— Пили в две очереди. Тут стояли, тут ждали. — Он показал ладонью две вытопанные площадки. — Между ними шагов пятнадцать.

— Сколько?

— Больше сотни. Сколько именно — не скажу.

Больше сотни коней. Час назад. Впереди нас, на той самой дороге, по которой не было следов, потому что они пришли на неё не по ней.

— Уходим.

Мы уходили не по своей дороге, а вбок, лощиной, и версты полторы вели коней в поводу. Мишка шёл рядом со мной и молчал.

Он молчал всю дорогу туда — за это я его и взял, — но теперь он молчал по-другому, и я это слышал.

— Спрашивай.

— Я не буду.

— Спрашивай.

— Мы бы к ним прямо приехали, — сказал он. — Да?

— Приехали бы.

— Всей колонной.

— Всей.

Он шёл ещё шагов сто.

— А если б мы поехали вчера?

— Могли разминуться.

— А если б послезавтра?

— Послезавтра дорога уже будет их.

Он подумал над этим и, кажется, остался недоволен ответом, но переспрашивать не стал.

На бугре я обернулся.

От хутора на юг, к тому самому месту, куда я собирался вывести тридцать семь подвод, тянулась по мокрому полю широкая тёмная полоса — след прошедшей конной массы. Она уходила ровно туда.

Мы бы вошли в это к вечеру.

В экономию вернулись затемно. Прежде чем расседлать коней, Мишка нашёл свой лист и перечеркнул южную черту. Осталась одна — к рельсу.

Тимофей ждал меня во дворе и держал фонарь так, чтоб я видел его лицо.

— Живой.

— Живой.

— Хорошо. — Он поставил фонарь на сруб. — Степан Тихонович, я скажу.

— Говори.

— Ты нынче ушёл в шесть утра и вернулся в девять вечера. Пятнадцать часов колонна стояла без тебя.

— С тобой.

— Со мной. — Он потёр усы тыльной стороной левой. — Днём приходил разъезд, незнакомый, но белый. Спрашивали, кто мы и по чьему приказу стоим. Я говорил, что по приказу полковника Шумилина. Они спросили, где приказ. Я сказал, что у командира. Они спросили, где командир.

— И что ты ответил?

— Что в разведке.

Он взял фонарь обратно и подержал его между нами.

— Урядник в разведке — это дело. Начальник колонны в разведке — это колонна без начальника. Ты покамест и то и другое, и покамест сходит. А сойдёт не всегда.

— Мне надо было видеть эту дорогу самому.

— Надо было. — Тимофей не спорил. — Только колонна — не разведотряд. С разведотрядом ты можешь в любую минуту повернуть — он повернёт за тобой. А колонна поворачивается полдня и не туда. Ты ведёшь её тем, что сам знаешь, а знание твоё покамест ни на бумаге, ни в чужой голове. Если тебя завтра снимут с седла — она станет и будет стоять, пока не подойдут.

— Ты останешься.

— Останусь. — Он поднял фонарь выше. — И буду держать интервал и очередь на воду. А куда идти — я не знаю. Я не знаю, отчего ты вчера зачеркнул восток и отчего сегодня поехал на юг, а не послал.

Я стоял и думал, что он прав ровно во всём, и что менять это мне нечем: чина у меня не прибавилось, бумаги не завелось, а объяснить ему, откуда у меня в голове голое слово «Касторная» без числа и без подробности, я не мог и не смогу никогда.

— Завтра с Архипом поедешь ты, — сказал я. — А я останусь.

— Это не то.

— Знаю, что не то. Другого у меня нет.

* * *

Матвей вернулся с узла в ночь на восьмое, и вернулся не один.

Он привёл с собой пожилого сцепщика, замотанного по уши в бабий платок, и всю дорогу до конюшни говорил с ним про какие-то пути и стрелки, и они спорили, и было слышно, что спорят они не первый час.

— Вот, — сказал Матвей, вводя его в свет. — Он там третьи сутки. Скажи, что мне сказал.

Сцепщик стянул платок.

— Составы идут на юг, — сказал он. — Всю ночь идут, один за одним, длинные, и все с чем попало: и раненые, и мастерские, и мука, и штабное имущество, и просто люди, которые сели, потому что стоял состав и была открыта дверь.

Он говорил, разматывая платок и постепенно оживая от тепла, и было слышно, что ему третьи сутки не с кем поговорить о своём деле.

— Пути забиты все. Днём составы стоят под парами и жгут уголь зря, потому что боятся отпустить паровоз: отпустишь — придёт другой и заберёт, а свой потом ищи. Водокачка работает через раз, воды не хватает, за воду уже дрались. Начальника станции несколько дней нет, вместо него комендант, а комендант никого не слушает, потому что и его никто не слушает.

— Пройти можно?

— Днём — нет. Днём вы будете лезть между составов и вас на первом же переезде и запрут.

— А ночью?

— Ночью хуже. Ночью они трогаются.

Матвей поднял руку.

— Скажи про промежутки.

Сцепщик засопел.

— Есть промежутки, — выговорил он неохотно. — Как последний ночной уйдёт, до первого дневного часа два с половиной, а то и три. Тогда южная горловина пуста. Совсем пуста, потому что все проехали, а новых с севера ещё не подали.

— Когда уходит последний ночной?

— Как когда. Позавчера в пятом часу. Вчера в четвёртом.

— Значит, окно между четырьмя и семью, — сказал Матвей. — Три часа. И это всё, что тебе будет, Беркутов. Тридцать семь подвод через станцию за три часа.

Я взял у Мишки уголь и стал считать прямо на кормушке.

На дороге мы держали по двести шагов между группами. На станцию так входить нельзя. Если сжать строй, на чистый проход тридцати семи подвод через пути уйдёт часа полтора. Пеших придётся пустить между ними, а не отдельной колонной. На остановки, чужие сцепки и запутавшуюся упряжь останется ещё столько же.

Полтора часа на проход, полтора на всё, что обязательно пойдёт не так. Три.

Ровно три часа, ноль запаса.

Окно держалось на слове сцепщика: позавчера последний ночной ушёл в пятом часу, вчера — в четвёртом, а завтра мог уйти в шестом. Другой дороги всё равно не было. Оставалось заранее решить, что именно я брошу, когда время кончится, — сейчас, на трезвую голову, а не в темноте на путях.

Тимофей глядел мне через плечо.

— Мало.

— Мало.

— А если растянуть на две ночи?

— Тогда половина колонны ночует на станции, — сказал Матвей. — Посередине. Между составами. Ты этого не захочешь.

Игнат слушал всё это, сидя на кормушке у самой двери, и заговорил только тогда, когда я взялся считать по второму разу.

— У меня сто два лежащих, — сказал он. — Через рельсы подвода идёт с толчком. Каждый рельс — это толчок, и на станции их будет больше десятка, потому что вы поедете поперёк всех путей.

— Сколько это по-вашему стоит?

— Не сосчитаю. У кого рана свежая или разошлась, может не выдержать. — Он ответил сразу, без раздумья, и по тому я понял, что он считал это ещё до меня. — Не от одного толчка, а от всей тряски подряд. Для них это всё равно что заново везти из-под Воронежа.

— А если не поперёк?

— А если не поперёк, вы не пройдёте.

— Значит, можем потерять людей.

— Можем. — Он подтянул лямку сумки и посмотрел на меня. — Я это говорю не для того, чтобы вы переменили решение. Решение верное. Я говорю, чтобы вы знали цену заранее и после не удивлялись.

— Что вам нужно, чтоб риск был меньше?

Он подумал.

— Солома. Много соломы, подложить под каждого вдвое против нынешнего. И чтоб на моих подводах ехали шагом, а не рысью, даже если все прочие побегут.

— Солома будет. Рысью не пойдёте.

— Тогда шансов больше, — сказал Игнат.

Я стёр цифры ладонью и написал заново.

— Тогда так. Идём одним заходом. Первыми — пустые и лёгкие, они быстрее. Потом раненые. Потом обоз с овсом. Последними — команда поручика и мы. Разгружаем всё, что можно нести, ещё до входа, за версту, чтоб на путях не возиться. Интервал на станции — не двести шагов, а десять. Гуськом, один за другим.

— Ты же сам его ставил, интервал.

— На дороге ставил. На дороге у нас враг — своя же куча. На станции у нас враг — время.

Он подумал.

— Ясно.

— И последнее, — сказал я. — Если к семи часам хвост не пройдёт, я его не жду.

Все посмотрели на меня.

— Договоримся сейчас, при всех, чтоб потом не спорить. Кто к семи не прошёл — сворачивает с путей вправо, к пакгаузам, и уходит своим ходом на юг вдоль насыпи. Старшим у них будет тот, кто окажется первым из непрошедших.

— А если это буду я? — спросил Пахомов.

— Значит, вы.

— С девятью фуражными подводами.

— С теми, что у вас останутся.

Пахомов помолчал.

— Разумно, — сказал он наконец, и в голосе у него было столько же тепла, сколько в его накладной.

— Мишка. Перепиши всех по номерам в том порядке, в каком пойдут. Не по подводам, а по порядку. Каждому скажешь его число и заставишь повторить.

— Всем? До утра не управлюсь...

— Всем. Ночь у тебя есть.

Он ушёл, унося уголь, и всю ночь я слышал его во дворе и за конюшней.

Он ходил от костра к костру, садился на корточки перед каждой кучкой людей и говорил им их числа, и заставлял повторять, и не отставал, пока не повторят. Взрослые мужики повторяли за пятнадцатилетним мальчишкой свой порядковый номер, как повторяют за учителем.

К трём часам он охрип и говорил шёпотом, и от этого его стали слушать ещё внимательнее.

Солому собирали в той же экономии, разобрав крышу сарая. Крыша была старая, солома прелая, но её было много, и Игнат браковал только совсем гнилую. Носили всю ночь. Под каждого лежачего подложили вдвое, а под тех, кого Игнат отметил особо, — втрое, и подводы от этого стали выше и мягче, и с виду сделались похожи на стога, из которых торчат головы.

Савва вышел за мной во двор и стоял, глядя, как в конюшне за приоткрытой дверью ходит фонарь.

— Сменных семь, теперь двое хромают. Походного овса на переход. Если к ночи выйдем и девятого войдём — ровно хватит войти. На выход — не хватит.

— Знаю.

— Я тебе, как договаривались, говорю вечером.

— Спасибо.

— Это не «спасибо». — Савва повернулся ко мне. — Это значит, что на той стороне ты первым делом ищешь не дорогу, а овёс. Иначе на той стороне мы просто встанем, и станет всё равно, прошли мы узел или нет.

Пахомов подошёл ко мне последним, уже перед светом, и держал в руке свою неизменную стопку.

— Я вам вот что скажу, Беркутов. Если мы там останемся, овёс сторит вместе с подводами, и никакой квитанции не будет.

— Знаю.

— А если пройдем, я вам его выдам весь и сразу, без нормы.

— Отчего так?

— Оттого, что после такой станции считать по норме — это уже неприлично, — сказал Пахомов и пошёл спать.

Гаврила чистил в конюшне свой пустой люйс.

Он делал это каждый вечер, хотя стрелять было нечем, и делал старательно. Я постоял в дверях и посмотрел.

— На станции склады, — сказал он, не оборачиваясь.

— Некогда будет.

— Я знаю, что некогда. — Он протёр затвор и подул. — Я к тому, что если вдруг будет — я знаю, где такое держат.

Перед самым рассветом я вышел на чердак каменного дома и постоял там один.

Отсюда на три стороны было видно поле, а на четвёртой, за буграми, вместо прежней полосы дыма стояло над узлом ровное зарево; в нём временами набухало и опадало что-то жёлтое. Оттуда, издалека, доносился звук, который я знал лучше всех прочих звуков на свете и который на таком расстоянии перестаёт быть выстрелами и делается просто ровным гулом, как будто где-то за холмами всю ночь молотят.

Туда мы и собирались войти следующей ночью: три других дороги были зачёркнуты углём на Мишкином листе.

Тимофей поднялся ко мне на чердак, постоял рядом и ничего не спросил.

— Который час? — спросил он потом.

— Четвёртый.

— Значит, у них там сейчас окно.

— Сейчас. Завтра в этот час пойдём мы.

Мы постояли ещё немного, глядя на зарево.

— Завтра в это время мы будем посередине, — сказал Тимофей.

— Будем.

В четвёртом часу утра восьмого я поднял всех. К вечеру остановились за версту от путей и начали разгружать подводы. В ночь на девятое к станции должны были подойти уже налегке.

Глава 8. Касторная

Окно, о котором говорил сцепщик, закрылось до того, как мы к нему подошли.

Девятого, к семи утра, мы стояли за пакгаузами в полуверсте от южной горловины, разгруженные, построенные по номерам, готовые войти, — и не вошли, потому что входить было некуда.

Ночью на станции переменялось всё.

Память Сергея дала мне только одно: у этого узла нельзя ждать. Ни пути, ни срока она мне не дала.

За ночь на север от узла пошёл бой — не гул за холмами, как позавчера, а настоящий, слышный, с отдельными разрывами, — и на станцию с той стороны хлынуло. Составы, которые сцепщик считал уходящими, стояли теперь под парами и никуда не шли, потому что южная ветка была занята другим составом, который встал на выходе и не мог сдвинуться; за ним подошёл второй; поперёк всего этого гнали пешие части, и путь через рельсы, тот самый, на который я рассчитывал по минутам, был просто и надёжно перекрыт человеческой массой.

С насыпи узел был виден весь, и вид этот я потом вспоминал не раз, потому что до того дня мне не приходилось видеть, как разом ломается очень большая, годами налаженная машина.

Шесть путей, и на всех шести составы. Между составами — люди: сидят, лежат, варят на кострах прямо на щебне, ходят через сцепки. У водокачки очередь, и в очереди стоят и вёдра, и котелки, и паровозный тендер, и никто не знает, чья теперь очередь. У пакгаузов выломаны двери, и оттуда носят: кто мешок, кто ящик, кто кусок брезента, и никто никого не останавливает, потому что останавливать некому. Над всем этим — пар, дым и тот ровный тысячеголосый гул, который стоит везде, где собралось разом слишком много людей и никто ими не распоряжается.

И через всё это мне надо было провести тридцать семь подвод поперёк.

Матвей стоял на краю насыпи и смотрел на это минут пять.

— Ну? — спросил я.

— Поперёк не пройдем.

— Совсем?

— Совсем. — Он показал молоточком. — Гляди сам. Мы туда войдем и станем на третьем пути. И на третьем пути нас будет тридцать семь подвод, а между ними будут ходить чужие люди и чужие паровозы. Оттуда мы не выйдем ни вперед, ни назад.

— Значит, обходим.

— Обходить нечем. Мы это считали.

Я стоял и молча пересчитывал в четвёртый раз то, что уже трижды сходились.

За спиной у меня стояло тридцать семь подвод, сто два неходячих, ходячие и приставшие, тридцать пять упряжных и семь сменных коней, из которых теперь хромали двое. Овса — на один переход, и переход этот кончался сегодня. Три дороги были зачёркнуты. Четвёртая перестала быть дорогой три часа назад.

— Матвей Елисеич. Что тут вообще можно?

Он ответил не сразу — сперва прошёл вдоль насыпи шагов сто, поглядел на что-то, вернулся.

— Одно можно. Ты только сперва дослушай, а потом ругайся.

— Говори.

— Мы не пройдем через станцию как обоз. Но часть твоих может уйти отсюда по рельсу.

Не с чужим составом — со своим.

— У нас нет состава.

— Состава нет, — согласился он. — Есть части. Вон там, на пятом, стоит паровоз без бригады, у него котёл тёплый, я щупал. Там, на шестом, четыре теплушки, брошенные, с нарами, — из них уже вынули всё, что можно вынуть. На запасном стоит платформа. Если это собрать в одну связку и перевести три стрелки, у тебя будет поезд на сто человек лежачими и на полсотни сидя.

— А бригада?

— Бригаду найду. Тут по путям четвёртый день ходят люди, которым некуда деться; среди них есть деповские.

— А путь?

— Путь на юг откроется, когда те два состава впереди уйдут. Они уйдут, потому что им тоже некуда деваться. — Матвей поглядел на меня. — Может, к вечеру. Может, завтра ночью.

— А подводы?

— А подводы, Беркутов, пойдут кругом. Полею, стороной от рельса, двадцать вёрст, как я тебе и говорил, что не надо. Теперь надо.

Вот так за одно утро мой единственный план стал двумя половинными.

Я не люблю делить силы. Всякий, кого этому учили, знает: две части, идущие врозь, редко приходят в условленную точку вместе, а иногда одна не приходит вовсе.

И всё же считать было нечего.

Сто два неходячих по полю, двадцать вёрст стороной от рельса, по разъезженной глине, на тридцати пяти упряжных и с фуражом до вечера — это не переход, это способ похоронить их по дороге. А по рельсу они пройдут эти двадцать вёрст быстрее и не почувствуют каждой колеи.

— Точка встречи?

Матвей присел и начертил молоточком на земле.

— Разъезд. Двадцать три версты по рельсу, вот тут. Одна платформа, водокачка, две стрелки. Подводам туда по полю — вёрст двадцать восемь. Ты придёшь позже, чем поезд, но не намного.

— Кто ведёт поезд?

— Я.

— А подводы?

— А подводы ведёшь ты, — сказал Матвей. — Потому что железо я знаю, а людей ты.

* * *

Собирали связку весь день девятого и всю ночь.

Матвей нашёл бригаду за два часа: машинист, помощник и кочегар отыскались среди тех, кто третьи сутки жил в брошенном классном вагоне и ждал, чтоб им сказали, что делать. Он сказал. Они пошли.

Стрелки переводили втроём: он, помощник и Архип.

Архип к этому времени уже понимал короткие команды Матвея у стрелки и не лез под колёса. После двух дежурств он относился к переводу как к механизму, который нельзя упускать из рук.

Теплушки подтягивали паровозом по одной.

К ста двум лежачим Игнат добавлял тех из ходячих, кто двадцать восемь вёрст по полю не выдержал бы.

Игнат отбирал.

Он делал это на насыпи, у сходней, и делал быстро, потому что времени не было совсем.

— Этого. Этого. Этого нет — он в седле дойдёт.

— Я не дойду!

— Дойдёшь.

— Игнат Фомич!

— Дойдёшь, я сказал.

Матвей стоял тут же и считал вслух:

— Сто двадцать. Сто двадцать пять. Хватит.

Игнат не двинулся от сходней.

— Не хватит.

— Больше не влезет.

— Влезет ещё десять.

— Влезет. — Матвей повернулся к нему. — Влезет, и на подъёме за разъездом мы станем.

Паровоз слабый, мы его с машинистом пробовали. Он тянет четыре теплушки и платформу и больше не тянет ничего.

— У меня десять человек, которые полем не дойдут.

— У меня одна тяга, — сказал Матвей. — Я тебе её не наращу разговором.

Они стояли друг против друга у самых сходней, и мимо них носили людей.

— Сколько весит десять человек? — спросил Игнат.

— Не в весе дело. В подъёме.

— А в чём тогда?

— В том, что если мы станем на подъёме, то не дойдут все сто двадцать пять, а не десять.

Игнат помолчал.

— Тогда снимите платформу.

Матвей открыл рот и закрыл.

— На платформе овёс, — выговорил он потом.

— Овёс без людей поедет, а люди без овса дойдут.

— Люди дойдут, а кони нет. А без коней подводы встанут в поле.

— Значит, десять моих не поедут.

— Значит, не поедут.

Я не вмешивался: Матвей считал тягу, Игнат — тех, кто полем не дойдёт.

— Матвей Елисеич. Сколько весит платформа с овсом?

— Достаточно, чтобы на подъёме не вытянуть.

— А если часть овса сыпать на подводы?

Матвей подумал.

— Сколько подводы возьмут — перегрузите. Платформу тогда можно не брать вовсе. И у меня останется тяга на четыре теплушки: возьму не сто двадцать пять, а сто тридцать пять.

— Игнат Фомич. Сколько у вас останется?

— Ни одного.

Овёс перегружали до темноты, вручную, цепочкой, и Пахомов стоял у платформы с фонарём и считал мешки вслух, и голос у него к ночи сел. То, чего подводы не взяли, осталось на платформе.

Кони чуть не погубили нам всё дело.

Их пригнали к насыпи слишком близко — некуда было деть, — и когда паровоз стал подавать назад и дал пар, табун понесло.

Семь голов разом. Через пути, в темноте, между составов.

Савва пошёл им наперерез.

Он не кричал и не махал. Он вышел на их сторону, поднял обе руки и пошёл прямо на них шагом, и я, глядя со стороны, был уверен, что его сомнут.

Не смяли. Передние стали, за ними задние, вся масса села, забила ногами, повернула — и он повёл их обратно, боком, отжимая от путей, и завёл в тупик между пакгаузом и забором, где им некуда было деваться.

Двоих не досчитались до утра. Одного нашли на четвёртом пути с перебитой ногой.

Савва пристрелил его сам, не зовя никого.

Потом он полчаса сидел на рельсе и не разговаривал, а после встал и пошёл проверять оставшихся по одному, ощупывая ноги. Оба прежних хромых после скачки берегли ноги и на завтра в упряжь не годились.

— Пять. — Он присел на корточки. — Было семь. Считай, что за один паровозный гудок мы отдали двух коней и полдня.

— Кто виноват?

— Я. Их нельзя было ставить в тридцати шагах от путей.

— Я велел ставить.

— Ты велел ставить коней. Куда ставить, знаю я. — Он поправил уздечку на плече. — Я тебе это говорю не для того, чтоб ты меня утешал. Я говорю, чтоб ты завтра не ставил.

Гаврила пропал на четыре часа десятого утром.

Я хватился его к полудню. Тимофей сказал, что видел, как он шёл вдоль путей на север, к депо, с пустым мешком.

Вернулся он с мешком не пустым.

— Где был?

— Там.

— Где «там»?

— Где горело.

На северной стороне узла с ночи жгли склады — не все, а те, что не успевали вывезти, и жгли бестолково, потому что жечь бестолково легче, чем разбирать. Гаврила пошёл туда, дождался, пока прогорит, и полез.

Он вытряхнул мешок на шинель.

Два диска. Один в масле, целый. Второй в копоти, с погнутым краем крышки.

— Два.

— Ты за двумя дисками ходил в горящий склад.

— Я ходил в негорящий. Он уже прогорел. — Гаврила взял целый и стал обтирать. — Там у наружной стены ящик стоял, английский, с клеймом. Середину завалило, а эти два с краю уцелели.

— А если б не прогорел?

— Тогда б я не полез.

Тимофей стоял рядом и молчал так, что было слышно.

— Скажи, — велел ему Гаврила.

— Я скажу командиру.

— Скажи мне.

— Тебе скажу коротко, — сказал Тимофей. — Ты ушёл на четыре часа и никому не доложил. Ты один. У нас нету второго тебя.

— У нас нету и второго льюиса, — сказал Гаврила. — А теперь у него есть два диска.

— Сколько там? — спросил я.

— Целый диск полный. В гнутом тоже патроны есть, а сколько подаст — не скажу.

— Значит, считаем один полный.

— Считай оба, — сказал Гаврила. — Только второй я тебе не обещаю.

Он вычистил их к вечеру оба. Погнутый он выправил молотком на рельсе и потом полдня заряжал и разряжал, проверяя подачу, и остался недоволен, но сказал, что пойдёт.

Два диска. Вот и весь запас его пулемёта, и за трое суток предстояло решить, где без него уже не обойтись.

Мишка всю ночь сверял списки.

Он завёл два листа вместо одного — «рельс» и «поле» — и переписывал в них людей по номерам, и всякий раз, как Игнат кого-нибудь перекладывал, приходил и правил в обоих. К утру он охрип, как две ночи назад, и ходил с закрытым ртом, объясняясь пальцами и листом.

— Сколько на рельсе? — спросил я его на рассвете.

Он показал лист.

Сто тридцать пять мест заняты. Восемнадцать при них — Игнат, два санитар, смотритель, фельдшерский ученик и тринадцать ходячих, которых Игнат оставил себе на руки.

— А в поле?

Он перевернул лист.

Тридцать семь подвод, теперь порожних наполовину; ходячие и приставшие; люди поручика; Пахомов с урезанным обозом; тридцать пять коней в упряжи и пять сменных.

И четверо своих. И я.

* * *

Тенишев нашёл меня одиннадцатого, в полдень, за час до того, как я собирался выводить подводы в поле.

Он приехал верхом, с двумя конными, в чистой шинели, и был совершенно такой же, каким я видел его последний раз в низкой избе под Воронежем, — как будто эти две недели прошли мимо него, не задев ни одной складки.

— Степан Тихонович.

— Ваше благородие.

— Я вас искал. — Он снял перчатку и подышал на пальцы. — Не по службе. По службе я вас нашёл ещё третьего дня, а искал — сегодня.

Мы отошли к пакгаузу, где было тише.

Он раскрыл папку, но читать не стал: просто держал её раскрытой, как держат ту вещь, которую собеседник должен видеть.

— Скажите мне, что это. — Он показал подбородком на подводы. — Только своими словами, не по бумаге. Бумаги у вас всё равно нет.

— Колонна.

— Чья?

— Ничья.

— Вот и я так думаю, — сказал Тенишев с удовольствием. — Она ничья. В штате её нет. В расписании нет. Довольствия она не получает — впрочем, довольствие она себе добыла, я видел квитанции, и квитанции, надо отдать вам должное, написаны верно. Приказа о её сведении не существует. Начальник у неё есть, но начальник этот — младший урядник, командир разведывательной команды, состоящий при части далеко отсюда.

— Всё так.

— Всё так. — Он закрыл папку. — И теперь я задам вам вопрос, а вы, будьте добры, ответьте на него не мне, а себе. Чем ваша колонна отличается от шайки?

Я не стал отвечать сразу.

Мимо нас двое несли на плаще человека к сходням. У сходней стоял Игнат и говорил им, куда.

— Тем, что её можно проверить, — сказал я.

— То есть?

— У неё есть списки. Поимённые. Кто в ней, откуда, с какой подводы, что у кого взято и по какой квитанции. Хотите — я вам их сейчас отдам все. Шайка списков не ведёт, ваше благородие. Шайке они ни к чему.

Тенишев поглядел на меня.

Он глядел долго, и в лице у него не было ни злости, ни торжества, а было то ровное, спокойное внимание, с каким смотрят на чужую работу, чтобы понять, как она сделана.

— Хороший ответ, — сказал он наконец. — Я его запишу.

— Запишите.

— Он вас, между прочим, не оправдывает. Он вас объясняет. Это разные вещи, и вторая для меня полезнее. — Он опять раскрыл папку. — Списки покажите. Не отдавайте — покажите. Я не хочу их иметь, я хочу их видеть.

— А если я вам их не покажу?

— Тогда я их затребую через коменданта, — сказал Тенишев без всякого нажима. — Комендант затребует к вечеру, вы подадите к утру, и вы потеряете ночь. Мне это ничего не стоит, а вам стоит ночи. Я вам это говорю прямо, чтобы вы не считали, будто у вас есть выбор, которого нет.

— Вы всегда так делаете?

— Почти всегда. Иногда людям кажется, что они уступили из вежливости, и им от этого легче. Вам, я вижу, легче не станет, так что не будем.

Мишку я звал долго, потому что он спал первый раз за двое суток.

Тенишев читал его листы сорок минут.

Сорок минут — это было ровно то, чего у меня не было, и он это знал, и я знал, что он знает. Он читал внимательно и без спешки, водил пальцем по столбцам, один раз спросил, отчего у двадцать девятой подводы в графе стоит «дверь зелёная створчатая», и, выслушав, кивнул.

Потом он вынул из папки чистый бланк и стал писать, придерживая его о колено.

— Вот, — сказал он, дуя на строчку. — Пропуск на следование сводной команды в составе, поименованном в приложенных списках, по маршруту на юг, с правом требовать содействия от комендантов и начальников станций. Подпись моя. Печать поставим на станции, тут комендант знакомый.

Я взял бумагу и прочёл её всю, включая последнюю строку.

Последняя строка была: «Действителен до изменения обстановки».

— Что это значит?

— Это значит ровно то, что написано, — сказал Тенишев. — Обстановка изменится — и он перестанет быть действительным. Кто определяет, изменилась ли обстановка? Тот, кто у вас его спросит. Или я.

— Тогда зачем он?

— Затем, что до ближайшего коменданта он вам сбережёт часа три, а до следующего — ещё три. — Он застегнул папку. — Я вам его дал не из приязни, Степан Тихонович. Я вам его дал потому, что вы везёте сто тридцать пять лежащих и потому что списки у вас в порядке. И ещё потому, что мне удобнее, чтобы вы шли по бумаге, а не помимо неё.

— Удобнее следить.

— Удобнее следить, — согласился он без всякой заминки. — Вы, я вижу, за две недели ни разу не соврали ни мне, ни о себе. Это редкость, и я это отмечаю. Это не значит, что вы говорите всё.

Он надел перчатку.

— Кстати. Полковник Шумилин о вас справлялся дважды. Я ответил, что вы живы и заняты.

— Благодарю.

— Не за что. Это правда. — Тенишев пошёл к коню и, уже вставив ногу в стремя, обернулся. — Южная ветка освободится сегодня к одиннадцати, я узнавал; те два состава уходят в десять. Это вам не по службе, это так.

И уехал.

Матвей выслушал про одиннадцать часов, ничего не сказал и пошёл на пути.

Вернулся он в шестом часу вечера, и я по лицу увидел, что он принёс не только хорошее.

— Ветка освободится, — сказал он. — Это верно. Только я прошёл её всю до разъезда пешком, все двадцать три версты, и назад меня довезли дрезиной.

— И?

— И на девятнадцатой версте развилка. Основная идёт дальше, на юг, а с неё вбок отходит ветка на элеватор, тупиковая. Стрелка стоит на тупик.

— Переведи.

— Перевёл. Она не держится.

Он положил молоточек на колено и стал вертеть его в пальцах, чего за ним раньше не водилось.

— Замок сорван, тяга люфтит. Я перевёл остряки на главный путь и прижал один путевым костылём. Для проверки хватило, а после прохода составов надо делать заново.

— Значит, поставить человека.

— Значит, поставить человека, — сказал Матвей. — С той стороны. После последнего чужого состава он снова переведёт остряки, проверит прилегание, закрепит прижатый костылём и даст нашему машинисту сигнал. А потом останется там, на девятнадцатой версте, один, в поле, у чужой стрелки.

Мы помолчали.

— Сколько ему нужно?

— Минуты три на перевод и проверку. Потом четыре теплушки и паровоз пройдут ходом.

— Три минуты, — повторил я.

— Три минуты, — сказал Матвей. — И двадцать три версты обратно пешком. Или четыре версты до вашего поля, если он пойдёт не назад, а поперёк.

Он поднял глаза.

— Я тебе это говорю сегодня, а не завтра ночью на путях. Как мы с Саввой Данилычем условились: вечером — то, что видно вечером.

Я развернул карту и стал искать, где девятнадцатая верста рельса подходит ближе всего к тому полю, которым пойдут подводы.

Выходило — версты четыре с небольшим. Если идти прямо, через балку и мимо трёх бугров, и если знать, куда идти.

— Архип. Пройдёшь завтра эти четыре версты и обратно?

— Пройду.

— Мне нужны приметы. Такие, чтоб человек нашёл их ночью и один.

— Ночью и один, — повторил Архип и посмотрел на Матвея.

Матвей на него не посмотрел.

— Ты не гляди на меня так, Архип Самойлыч, — сказал он потом. — Я твоего ремесла не знаю и в поле ночью заблужусь у первого куста. Оттого и прошу приметы.

— Я тебе дам приметы.

— Дай такие, чтоб я их запомнил с одного разу.

— Дам с одного разу.

Выход назначили на ночь с двенадцатого на тринадцатое.

Раньше было нельзя: овёс перегружали до вечера одиннадцатого, теплушки сцепили и проверили только к утру двенадцатого, а Игнат разрешил грузить лежащих лишь в последние четыре часа, чтобы не держать их в неподвижной теплушке дольше необходимого.

Двенадцатого днём оба потока стояли готовые.

Поезд — на шестом пути, четыре теплушки и паровоз, с бригадой, со ста тридцатью пятью неходячими, с Игнатом, смотрителем и восемнадцатью при них.

Подводы — за пакгаузами, тридцать семь, порожние наполовину, с ходячими и приставшими, с людьми поручика, с Пахомовым и его урезанным обозом, с тридцатью пятью конями в упряжи и пятью сменными; двое из сменных хромали.

Точка встречи — разъезд на двадцать третьей версте.

Пропуск Тенишева лежал у меня за пазухой рядом с поручением Шумилина. Матвей положил возле карты молоточек и два путевых костыля; Архип ещё раз провёл ему пальцем путь от девятнадцатой версты к полю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.